

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА **Р** БОЛЬШИЕ КНИГИ

Валентин  
Иванов

РУСЬ  
ВЕЛИКАЯ

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Валентин Иванов

**Русь Великая**

«Азбука-Аттикус»

1964

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

**Иванов В. Д.**

Русь Великая / В. Д. Иванов — «Азбука-Аттикус»,  
1964 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-24412-2

Валентин Иванов известен читателям прежде всего как автор эпохальных исторических романов, обращенных к прошлому Древней Руси: «Русь изначальная», «Повести древних лет», «Русь Великая». В настоящем издании представлен завершающий цикл роман «Русь Великая». Приступая к работе над книгой, автор так определил свой замысел: «Хочу я быть в XI веке. Это – у нас Владимир Мономах, в Европе – завоевание Англии норманнами, Первый крестовый поход. В Азии кочевники клубятся у Великой стены. В Римской империи – Генрих, у которого была русская княжна-жена... И весь мир неспокоен, весь мир бурлит не хуже, чем ныне, хотя было в нем людей куда поменьше...» И действительно, писатель не ограничился описанием в книге Великой Руси, он перемещается «по странам и континентам через XI век», от берегов Америки до монгольских степей, от Руси до Византии. И каждая глава – это отдельная повесть. В то же время все части составляют единый роман, главной темой которого является становление мощного Русского государства на фоне мировых исторических катаклизмов.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-24412-2

© Иванов В. Д., 1964  
© Азбука-Аттикус, 1964

# Содержание

Глава первая	7
Глава вторая	79
Конец ознакомительного фрагмента.	90

# Валентин Иванов

## Русь Великая

© В. Д. Иванов (наследник), 2023 © Оформление.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Азбука®

*Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить  
отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков.  
А. С. Пушкин*

## Глава первая

### Громче звенящей бронзы

Много ли, мало ли места на земле, коль измерить от востока до запада? И сколько всего места лежит между полуночью и полуднем? Кто отгадает?

Некогда в Элладе у горной долины над пропастью сидел страшный человекозверь Сфинкс и задавал прохожим загадку: какое животное утром ходит на четырех ногах, днем – на двух, вечером – на трех? Недогадливых Сфинкс убивал. Нашелся прохожий с ответом: это животное – человек, и Сфинксу пришлось самому броситься в пропасть, и дорога стала свободной. Не на счастье отгадчику, лучше было б ему быть растерзану Сфинксом. Древние боги с него взыскали по-божески, бесчеловечно, и ужаснулся он собственной мудрости. Ни к чему человеку знать слишком много, незнание лучше знания.

В сфинксовой пропасти вечно темно. В эллинских долинах лежат густые тени от эллинских гор. Солнце, не так долго помедлив после полудня, падает за возвышенья, даря вместо дня длинные сумерки и раннюю ночь. Там не загадаешь, сколько будет от востока до запада, сколько от полудня до полуночи. И так видно: от горы до горы либо от горы до берега моря. Тесно.

Русская земля другая. Для нее та загадка и годится. Недостижимый купол небес солнце обходит за день да за ночь. Вот тебе мера, вот тебе и отгадка.

Ключи, ручейки, ручьи, речки, реки. Озера проточные или закрытые для выхода воды – будто глаза земли. Болота, болотца. Одни сухим летом прячутся, другие – терпят. Разве только в болотах бывает вода дурной на вкус, но все же не горькой, поит человека, растение, зверя. Повсюду богатство сладкой воды, и близка она. Нет реки или ручья – легко вырыть колодезь. У нас воду не ценят: не с чем сравнить.

Реки указывают, где верх земли, где низ. Наверху – начало. Глазочек. Росточек живой и будто бы слабый, как почка. Из глуби земли трепещет струечка в чашке песка. Мелко. Живой воды едва в горсть наберешь, можно горстью всю выплескать. Однако ж чаша быстро наполнится. Замутит – дай отстояться, увидишь, как на дне, раздвигая песчинки, бьется ключик-живчик, выталкиваясь наружу. Мелкие песчинки кружатся в легкой струе, как толкунцы летним вечером. Те, что крупнее, лежат. Тяжелы, не поднять. Слабосильный ключик, пустяк, нитка иль паутинка.

Однако же любо русскому потрудиться у такого вот малого ключика. Кто-то свалил дерево, размерил бревно, рассек на коротыши по размеру, зарубил концы в лапу, чтобы держались, и врыл в землю малый сруб, верхний венец подняв над землею. Сделался ключик заключенным.

Пока случайный прохожий-проезжий мастерил из бересты ковшик, ключик, наполнив четырехгранную чашу своего деревянного кремля, перелился через край и потек дальше по старому ложу, будто так и было от века. Напившись, прохожий ковшик не бросил. Вбил кол, на сучок повесил берестянку. Ладно так, издали видно.

Говорил, воду не ценят? Да, не ценят воду, чем попало черпают, бросают что придется, топчут, падаль мечут – большое все терпит. Берегут детскую нежность ключей. Реки, озера сотворены ключами. Иссажнут они, забившись грязью, не станет ни рек, ни озер, земляная вода уйдет стороною. Потому-то и берегут ключи: в них сила, в них начало вод русской земли. В других землях, где реки начинаются от льдов снежных гор, все может быть по-иному. Каждому своя честь, свой закон, от рождения. В беззаконии только нет закона.

Камня мало, зато леса много. Где посуше, там сосновое красное лесье. В борах почва тонкая, меньше штыка лопаты, под ней пески. Ель любит жить по глинам. Лиственное дерево,

предпочитая жирные почвы, приживается всюду. Леса заступают русскую землю, леса заставляют ее стенами, реки текут в лесах, и ключи поднимаются по древесным корням. По рекам открыты пути, по рекам – легкие дороги, русские общаются реками, волоком перетаскивают лоды от истока к истоку. Так вяжется русская общность от ледовых морей и до теплых.

Думают, будто бы реки, как торные дороги, породили Русь. Без рек будто бы ничего-то и не было. Сидели бы люди в лесу, держась каждый за свою поляну.

Для каждого деревца, для каждой травинки, цветка – слово. Нашли сочетанья звуков для всего, слышимого ухом, видимого глазом, осязаемого, обоняемого, ощущаемого на вкус. Все сущее собрано словом и словом же разъединено на мельчайшие части. Дерево – это и корень, и ствол, и ветки, и листья, и черенок листа, и жилки его, и цвет, и плод, и кора, и чешуйки ее, и сердцевина, и заболонь, и свиль, и наплыв, и сучок, и вершинка, и семя, и росток, и почка, и много еще другого, и все в дереве, и для каждого дерева, для каждой его части – слово. Для самой простой вещи есть и общее слово-название, и для каждой части свое слово-название. Чего проще – нож? Нет, вот – клинок, вот черенок. В клинке – обух, лезвие, острие; черенок – сплошной либо щеками, отличается по материалу – костяной, деревянный, какой кости, какого дерева, цвета, выделки...

Твореньем множества слов добились выразить и не видимое глазом, не осязаемое ни одним из внешних чувств, сумели понять внутренний мир и о нем рассказать, поняли гнев, любовь, жалость, жадность, зависть, тоску и для этого безграничного мира, от которого все идет, создали из звуков слова, открыли возможность поиска главного и стали понятней себе и другим.

Достигли широких слов, кто-то первым сравнил течение реки с течением непостижимого времени и был понят, и само слово назвали глаголом, то есть делом, ибо в слове уже есть дело – начало; и произносящий слово есть творец и работник, ибо слово рождается необходимостью души и ума, и, будучи делом, требует дела же, и живет, расширяясь само, расширяя творца, вызывая его искать новых слов, находить их, и дает радость, так как создание новых слов есть творчество мысли, воплощаемой в словесное тело.

Не речные дороги, а общее слово-глагол сотворило единство славянского племени. Повторим же еще: не Днепр, не Ильмень были русской отчиной. Русская отчина – Слово-Глагол.

Пусть в одной части земли иначе звучало окончание слова, пусть в другой по-своему ударяли на слог, пусть один чокал, другой цокал. И родные братья бывают разноволосы. В русских словах – общая кровь. Одинок человек, от одиночества он бежит в дружбу, в любовь, создавая богатство слов ценнейших, неоплатимых – потому-то они и раздаются бесплатно да с радостью.

Нет чудней, бескорыстней, добрей привязанности к местам, познанным в детстве. Отроческая родина мила больше, чем красоты самых щедрых на роскошь знаменитых мест. Кусок пыльной в сушь и черной в ненастье дороги, лесная опушка, неладно скроенное и кое-как собранное отцовским топором крыльцо в три-четыре ступеньки под шатром, крытым дранью, завалинка, плетеный забор, тихая речка с заводью, плоские плавучие листья ароматных кувшинок. Такое было у всех. Сшитое из нехитрых кусков, оно недоступно для постиженья чужим, проходим и не нужно им и само не нуждается в прославлении. Как с любовью: ты сам находишь прелесть в лице, в голосе, в повадках, и любишься, и любишь, будто сам ты творец-созидатель. Ты им и есть.

Любовь не ревнива, а требует верности. Так и родное место: твое, пока звучит родная речь. Наводнение чужой речи, даже ее прикосновение гасит чувство: ты здесь родился, а ныне сам ты – прохожий. Тут уж поступай как знаешь, как смеешь, как сумеешь, извне тебе никто не поможет. Но пока с тобой Слово-Глагол, ты не пропал, ты еще не безродный бродяга.



До верха Днепра, до верха днепровских притоков через верховые ключи, озера, болота к верховьям других рек, текущих на север, на запад и на восток, – вот родина Руси, сотворенная Словом-Глаголом.

В своей вольности русский не чуждался чужой речи, охотно, легко обучал себя иноречью, охотно, без стеснения брал себе понравившееся слово, и, глядишь, оно уже обрусело. Придя в новое место, не старался назвать его по-своему, если оно уже было обозначено кем-то, и делал название своим, щегольски переиначивая на свой лад, если оно выговаривалось с запинкой. Русская речь вольная – как хочу, так и расставляю слова, и слова обязаны быть легче пуха: мысль станет уродом, если слова тяжелы, если на речь надето заранее изготовленное ярмо непреложного закона.

Чтобы сделать народ странным и странствующим между другими народами, нужно попытаться лишить его права на слово – и народ, прицепившись к неизменно старым словам, в них замрет.

Переводчики слов, подобно монетным менялам, извечно предатели. Переводчики смысла, переводчики мысли – друзья. Русский глагол разрастался, менялся, как все живущее, был и землей, и охраной границы, и народом.

Бесспорно, можно играть словами, выдавая их за мысли. О таких игроках сказано: они были...

Великий князь Руси Ярослав Владимирович, которого титуловали на римско-греческий лад кесарем-царем и великим каганом на степной лад, скончался вблизи Киева, в крепком городе Вышгороде, летом 1054 года. В тот год на западном краю хорошо известного мира, близ западного моря, которое называли и Океаном, и Морем Мрака, и Неизвестным Морем, нормандский герцог Гийом жадно приглядывался к острову Англии, или Британии. Там, на острове, слабый волей и духом король Эдвард, родственник Гийома, проводил дни и ночи в молитвах, а его подданные – в беспечных ссорах-усобицах.

В тот год на восточном краю того же хорошо известного мира высокоученые сановники управляли самым большим государством мира, плотным, как сыр, называвшимся Срединным государством или Поднебесной страной. Управляли будто бы с успехом, но удача сопутствовала скорее в писанных докладах высшим людям, чем на деле. За Великой стеной, ограждавшей Поднебесную с севера, жили малочисленные степные и лесные племена. Поднебесная называла их дикарями или, более значительно, беглыми рабами. Один удар дикари уже нанесли, овладев северной частью Поднебесной, собирались нанести и второй. С востока готовился удар третий, самый страшный из всех.

В тот год на юге от Руси, в Константинополе – Византии, до которой было рукой подать, заканчивал не слишком славное время своего правления Вторым Римом, Восточной империей, последний муж – муж только по имени – престарелой базилиссы Феодоры Константин Девятый Мономах. Единая христианская Церковь уже кололась на Западную и Восточную. В арабах угасал наступательный дух. На смену им пришли турки, которые выдавливали Восточную империю из Малой Азии. На юге не воевал лишь тот, кто не мог. Такой, копя силы, прикрывался словами миролюбия до первого дня вторженья в пределы соседа. Внутренние войны между арабами, между турками и между теми и другими бывали еще злее, чем между ними и христианами.

На севере от Руси небо было чисто.

Князь Ярослав, сын Владимира и Святославов внук, был среди своих братьев по рождению четвертым, после Вышеслава, Изяслава и Святополка.

Вышеслав сидел в Новгороде, Изяслав – в Полоцке, Святополк – в Турове, Ярослав – в Ростове. Мстислав держал дальнюю Тмутаракань, Святослав – Смоленск, Судислав – Псков.

Все сыновья были отцовы подручники. Кроме Изяслава. Он, будучи по матери Рогнеде из рода коренных кривских князей, был кривской землей и принят как родовой князь, свой, отчинный.

Новгород почитался наилучшим после Киева княжением. После смерти Вышеслава туда Владимиром мог быть послан следующий по старшинству сын Святополк. Но Святополк был у отца в немилости за необузданный нрав. Поэтому в Новгород Владимир послал Ярослава, в Ростов, на свободное место, – Бориса, а Муром дал Глебу. Этих двух сыновей, самых младших, Владимир и отличал, и любил. Они родились от последней жены Владимира, дочери греческого базилевса. Ростов и Муром были у восточного края, там и среди русских очень замечались люди, придерживавшиеся старой веры, инородные же были христианством почти не затронуты. Требовались тут и мягкость, и терпенье, нужен пример, ибо понуждение привело бы к обратному: поскользнувшись на крови, край мог и совсем отскочить. Слабая рука будет сильнее сильной, как порешил князь Владимир. Сам он стал стар, слаб телом – устал. Без страха говорил, что пора ему и в домовину укладываться. Киевские лекари, свои с иноземными, покоили Владимира в дряхлость, как умели, но от смерти лекарства-то нет.

Ярослав усаживался в Новгороде, ласкался к новгородцам, новгородцы к нему ласкались, ценя быстрый Ярославов ум. В душевных беседах давались взаимные обещанья. Ярослав сулился поставить Новгород выше других городов: освободить от платежа ежегодной дани в две тысячи серебряных гривен, как платили новгородцы, начиная со Святослава. По новгородскому богатству дань не тяжела. Освобождение от нее льстило известной всему миру новгородской гордости. Для вольного человека гордость дороже набитой сумы.

Поговаривали, что собирается старый Владимир отдать по себе великокняженье Борису. Поговаривали, ссылаясь на слова, будто бы сказанные самим старым князем. За старших был обычай, однако же закона о престолонаследии не существовало. Владимир Святославич сам землю собрал, и слово его могло явиться законом. Ярославу мнилась печальная участь оказаться под рукой младшего брата, человека юного, неопытного, мягкого. Добрые его черты, за которые отец дал Борису Ростов, обернутся на киевском столе злыми. Коль мягок, значит будут советчики. Что скажет последний, то на душу и ляжет, а дальние всегда окажутся виноваты. Поразмыслив, Ярослав решил сам первым шагнуть и послал сказать отцу, что Новгород больше не будет платить Киеву дани, а будет от дани навсегда свободен. И в том дал новгородцам от себя грамоту.

Ярослав не собирался откалывать Новгород от Руси, такого не захотят сами новгородцы. Ожидая со дня на день отцовской смерти, Ярослав заранее освобождал себя от подчиненья Борису, буде тот сядет на киевский стол. Легче и проще будет ему договариваться с младшим.

Вышло же совсем по-иному. Дело лишний раз подтвердило, что не заглянешь и в завтрашний день, не то что на годы.

Владимир Святославич показал вид большого гнева на сыновье непокорство, велел мостить мосты, чинить дороги и собирать войско для смиренья непокорных. Однако же княжьей дружины в Киеве в те поры не было. Владимир послал дружину с войском под началом Бориса в Дикое поле для укрощенья печенежских набегов. Для воинской беседы с Ярославом и с Новгородом нужно было вернуть Бориса, дружину, войско из киевлян и днепровского левобережья. Приказов младшему сыну Владимир не послал. Так ли, иначе ли, но оставил работать время.

Время распорядилось по-своему. Очень часто смерть медлит к больному. Но там, где ее ожидают, она все же является внезапно. Владимир Святославич не встал с постели, чтобы вздеть в перевязь меч на непокорного Ярослава, а принял жданно-нежданную гостью. Его княженье завершилось смертью летом 1014 года.

Умер он в подгородном княжьем селе Берестове. Святополк Владимирович был в Киеве, на положении опального, не в подвале, но под наблюденьем, чтоб никуда не бежал.

Владимировы приближенные тайно перенесли тело своего князя в Киев, заботясь о том, чтоб киевляне успели заранее узнать о смерти князя и сговориться, что делать им, пока весть не дойдет до Святополка. Были известия, что войско с Борисом возвращается, хотелось оттянуть хоть несколько дней.

Киевлянам не удалось ничего порешить. Распоряжений князь Владимир не оставил, при жизни преемником себе никого не объявлял. Обычай был за Святополка, и он времени не терял. Он тут же сел в отцовском дворе в Киеве, открыл двери в кладовые и щедро одаривал киевлян, обещаясь быть добрым князем и во всем блюсти отцовский обычай. Дают – бери. Киевляне не отказывались от золота с серебром, от дорогой одежды, мехов, изделий из драгоценных металлов с самоцветными камешками. Благодарили, но были хмуры: если войско захочет поставить Бориса киевским князем, Святополк потребует от киевлян помощи против Бориса. А там, в войске, и братья, и сыновья, и друзья киевлян.

Борис не нашел печенегов: легконогие кочевники, узнав о приближении русских, бежали за Донец и за Дон, к Волге. По совету дружины решили возвращаться домой. Остановились на левом берегу Днепра, около крепости Лыто, или Альта, верстах в тридцати от киевской переправы. О смерти Владимира Святославича узнали еще в Переяславле, в Альте же ожидали свои – посланные из Киева, которым нужно было знать, что решит и войско, и князь Борис, чтобы понять, чего держаться оставшимся в Киеве.

Бояре из старшей отцовской дружины советовали молодому князю идти всем войском в Киев: «Завтра переправимся, днем посадим тебя на княжеский стол!» Оказалось, что старый князь не с одним человеком беседовал, делаясь желаньем своим, чтобы после него посадили Бориса. Успокаивали – дружина у Святополка молодая и слабая, вчера набранная, киевляне ему не помощь окажут – вид один. Святополк многих успел закупить, в Киеве всяких людей хватит, но купленный воин плохой: чем на поле голову подставлять, он домой побежит платой тешиться.

Ярослав верно ценил слабость Бориса. Но Борис показал себя еще более слабым и робким. Не решаясь шагу ступить, медлил, искал совета у духовенства, молился. Прибыли люди от Святополка с красноречивыми убеждениями не вносить меч между братьями, не губить свою душу и русские души в междоусобной войне. Святополк устами посланных клялся в братской любви, обещал прирезать к Ростовскому княжеству новые волости, тем доказывая любовь не словесную, а деятельную, истинно христианскую. Борис же, легко склоняясь к бездействию, объявил войску, чтобы каждый шел к своему месту, он же принимает волю старшего брата.

Дружина Владимира Святославича тут же разъехалась, не ожидая отпуска от Бориса. Пошли против печенегов – не нашли печенегов. Думали князя найти – и того не нашлось. Как бы не потерять себя самих. Мало у кого лежала душа к Святополку. Дружинники, и старшие и младшие, были люди вольные. Они держатся князя, но и князю без них ступить нельзя. Переход от князя к князю – дело полюбовное, хорошо послужил одному, будет хорош и другому. Старшие дружинники – бояре, имевшие оседлость в Киеве, – собирались имущество продать или дать на хранение, самим же отъехать. Никто явно не сказал, что предложит свой меч Святополку. Этот князь казался темен.

И не зря худое думали о Святополке. За дурные дела отец его лишил княжества. Был Святополк озлоблен. В злобе редкий человек умеет держать язык за зубами. Святополк грозился выместить злобу на братьях, на отцовых подручниках.

К брату Глебу в Муром Святополк послал письмо и гонцов с приглашением – не медля ехать в Киев. Отец умер, а он, Святополк, сел на отцовский стол и сделался братьям вместо отца. Но болен тяжело и не надеется остаться в живых. К Борису на Альту Святополк отправил не послов, а убийц. Легко расправившись с незащитным князем, они зашили тело в кожу и привезли в Вышгород хоронить. Подобные дела не хранят в тайне, но находят оправдания в примерах.

Примеров кругом было много. Недавно король чехов Болеслав Рыжий, взойдя на престол, тут же приказал лишить одного брата мужественности, второй брат едва унес ноги. Болеслав Польский, прозвищем Храбрый, изгнал братьев и ослепил нескольких родичей. Правящие дома франков, сначала потомки Меровея, за ними потомки Карла, наполнили преданье нескончаемым самоистреблением. Люто резались греки за трон базилевсов, злое соперничество властвовало между хозарскими и печенежскими ханами.

Святополк повернул Русь на протоптанную другими дорогу. Весть об убийстве Бориса с удивившей всех скоростью дошла до Новгорода. Прodelав длинный путь, она вновь пустилась к югу: Ярослав послал сказать брату Глебу, чтоб остерегся он, держался бы подальше от Киева.

Князь Глеб, получив приказ Святополка, поспешил к умирающему будто бы брату. Только на Днепре он случайно узнал о страшной судьбе Бориса, о Святополковом обмане. Тут же и повернуть бы ему, бежать хотя б в Новгород. Глеб растерялся, не зная, что делать, молился, подавленный бедой. Прав был Владимир Святославич: сидеть бы Глебу в Муроме, не мутя воды, да ласково уговаривать приверженцев старой веры, насколько новая лучше и правильней. К месту случайной пристани Глеба подошли против течения лоды с убийцами, посланными Святополком. По их приказанию и за обещанную мзду повар князя Глеба, по рождению торк, мясницким ножом зарезал юного хозяина. Новгородские посланные, возможные спасители, опоздали всего на один день. В жизни, как в сказке, день, минута даже много весят: направо счастье, налево гибель, между ними и руку не просунешь. Вся разница – в сказке конец обычно счастливый, иначе не любо слушать.

Третий брат Святополка, Святослав, бежал из Смоленска в Венгрию, но убийцы настигли его на дороге. Теперь кругом Киева стало свободно для Святополка. Страшен был ему только Ярослав. От Мстислава Святополк тут же защитился Степью, завязав союз с печенегами, через которых пришлось бы идти тмутакарам.

Незадолго до событий, которые поставили судьбу Руси на лезвие бритвы<sup>1</sup>, по выражению старых книжников, несколько варягов из дружины князя Ярослава обидели скольких-то новгородцев. Обиженные побили варягов. Князь Ярослав ответил кровью на кровь.

Получив известия из Киева, Ярослав собрал новгородцев на вече, и взаимные обиды были забыты перед лицом общей опасности: возьми Святополк верх – и Новгород потеряет полученное от Ярослава право свободы от киевской дани. Поэтому даже люди дельные и холодные дали себе увлечься чувством отвращения к Святополку, так же как ранее поддерживали Ярослава оказать непослушание родному отцу. Охочих идти нашлось до сорока тысяч. Вместе с дружинниками князя, которых было до трех тысяч, составилось сильное войско, свидетельство того, что не зря Новгород называл себя Господином Великим.

Несколько тысяч людей переплыли Ильмень, поднялись по Ловати и через волоки свалились в Днепр. Перед городом Любечем пристали к правому берегу. На левом ждал Святополк.

Рассказ краток, дело медленно. Великий князь Владимир умер 15 июля, в начале августа были убиты Борис и Глеб. К Любечу же добрался князь Ярослав осенью, и не ранней – уже лист опадал. Князь Святополк успел, развязав туго набитую отцовскую мошну, набрать достаточно русских охотников. Успел прельстить киевскими гривнами печенегов, и к Любечу подошла орда наездников и стрелков, перед которыми в те годы содрогалась и Восточная империя.

Против Любеча Днепр не широк. Многоводную Припять он принимает верстах в шести-десяти ниже, а Десну – над самым Киевом, еще верст на сорок ниже.

Противники, встав один против другого, начали жить на виду. Дни катились с мочливыми осенними дождями. Пошли заморозки-утренники, вечерние лужи на рассвете пучились

<sup>1</sup> И в VI, и в XI веках византийские писатели часто употребляли выражение «быть на лезвии бритвы», как образ опасного поворота событий. – *Здесь и далее примечания автора.*

ледком, под которым стыл белопузырчатый воздух. Днепр спадал, вода светлела, как ей положено к зиме.

Вытащив лодьи на берег, новгородцы ждали. Князь Ярослав не решался на переправу. Не решался и князь Святополк, а решился бы – не смог. И лодий у него не было, и переправляться своим обычаем, вплавь, печенежская конница не соглашалась на виду у врага.

Считали не дни, а недели. Воздух и вода охлаждались, утренники сменились морозцами до полудня. Днепр мелел – верховья прихватывало, мороз сушил лесные ручьи. Вода потемнела по-зимнему, то ли от холода, то ли мертвые листья, истлевая на дне, красили воду, не отнимая прозрачности.

В новгородском лагере сыто: новгородцы люди запасливые. В новгородском лагере неспокойно – такой народ. По привычке шапки перед князем Ярославом не ломая, а только подальше заламывая на затылки, шумят. От дома, вишь ты, далеко, сидим, хлеб едим – не даром ли? Пора быть бою, а нам домой пора. По хозяйкам соскучились, а хозяйки без нас гуляют!

Ждет князь Ярослав, а крикуны сами куда же решатся. Крикун, он себя криком облегчает. Ты бойся молчуна. Молчун калится без слов, жа`ра незаметно, а плюнь – зашипит.

С берега на берег идет пересылка. О чем? Не знают. Но мирного конца не жди – это знают.

Летом тяжело доспехи носить. Божье наказание. За грехи. Жмет, давит. Тело прееет, идет красными пятнами, зудит – не почешешься. В холодное время подкольчужные рубахи и шубы согревают. Новгородцы толпятся на своем берегу, сидят на лодьях, как на торгу, и сражаются со святополковскими всей бранью, какая лезет из горла.

Новгородцы горячи и обидчивы, сгоряча острого слова не придумаешь, твердят все одно. Верх остается за левым берегом.

– Вы, новгородские серые плотники, из доски сделаны, доской укрываетесь, с доской, как с женой, спите. Идите к нам, мы вас заставим хоромы рубить с вашим князем-хоромцем!

Одни кричат – хоромец, плотник. Другие – хромец: князь Ярослав припадал на одну ногу.

Брань на вороту будто бы не виснет. Обиженные новгородцы насаждают на Ярослава:

– Давай бой, иль без тебя на тот берег полезем!

С той стороны Ярослав получил весточку. Кусочек беленькой бересты. Нацарапано: «Мед с вином запасено много».

В середине долгой морозной ночи Ярославовы дружинники тихо будили спящих. Задолго до рассвета правый берег опустел. Многие новгородцы, высадившись на левый берег, от соблазна толкали опустевшие лодьи на днепровскую волю: победим, так лодьи найдутся, побьют нас – не нужна ты мне будешь.

Повязав головы белыми платками, чтоб отличить своего от чужого, новгородская пехота навалилась на врага со своим страшным оружием – топором на длинном топорище. Равный по силе удара франциске франков или саксонской секире, новгородский топор превосходил меткостью. Кто знаком с плотницким ремеслом – новгородцев не зря дразнили плотниками, – поймет с одного слова, тому, кто не видел своими глазами игру плотницкого топора в русской руке, не объяснишь и сотней слов. Конечно, не такое уж счастье пятнать человеческой кровью честную сталь. Вздохнешь и скажешь: не нами началось, не нами и кончится...

Святополк заложил свой стан между двумя озерами. Печенеги стояли поодаль и не могли прийти на помощь своему наемщику. Князь Ярослав отделил часть для нападения на печенегов, и те, пешие поневоле, разбуженные топорами, потерпели страшный урон в бегстве к своим коням, а добравшись до конской спины, думали лишь о бегстве. Русские полки Святополка бились лучше, и с ними покончили уже при свете. Бедствие побежденных завершилось на озерах: молодой лед не сдержал ни отступивших на него, ни беглецов. Но князь Святополк успел вырваться.

В Киеве князь Ярослав оделил новгородцев щедро, по силе отцовской казны, которую Святополк не успел дотрясти. Новгородцы-домохозяева получили каждый по десять гривен

серебра на себя, племянников, сыновей, захребетников. Ратники из прочего людства, новгородцы – горожане или из волостей, получили по гривне на голову.

Новгородцы поспешили домой, пока реки не станут, гордясь и победой и утверждая князя Ярослава новгородской рукой. С тех пор завязывается дружба между Ярославичами и Господином Великим Новгородом. Так и бывает: кому помог, того полюбил.

Киев принял князя Ярослава тепло. Страшный и кровавый год окончился будто бы хорошо. Но кровь не сразу смывается, остаются от нее, как от железа, ржавые стойкие пятна. Над Русью висел Святополк, готовясь те пятна пообновить свежей кровью.

Бежал этот князь к королю ляхов Болеславу Храброму, уже помянутому за гоненья на своих кровных родичей – возможных соперников. Болеслав был женат на одной из дочерей Владимира Святославича, доводясь зятем и Святополку, и Ярославу. Он принял Святополка, обнял, как родного, слезно сочувствовал, чтобы руки нагреть на русском неустройстве.

Болеслав заслал к печенегам послов, те мало дарили, но обещали много, и Степь поднялась против Руси. В который раз? В бессчетный. Не для красного словца, а потому, что действительно никому не удалось сосчитать. Пройдя правобережьем, печенеги сумели появиться неожиданно под самым Киевом. Бой был тяжелый, затяжной, с утра и до ночи, подобный страшному сну, от которого не удастся проснуться, в котором от усталости бойцы и жизнью не дорожат: хоть бы убили, только бы лечь. В сумерках русские сломили печенегов. Гнались – откуда силы берутся! Оглянулись – а пленных-то нет, только убитые кучами, негде ступить.

На сколько-то времени Русь погасила печенежью силу. Князь Ярослав заключил союз против Польши с Генрихом Вторым, императором Священной Римской империи германской нации. Император обязался идти на Польшу с запада, князь Ярослав пошел мериться силами к польскому Бресту. Оба не добились успеха. Генрих Второй перевернул шапку: предложив мир Болеславу, он толкнул своего опасного соседа на Русь. Игра старая, как война. Удача ли будет опасному союзнику, вчера опасному врагу, или побьют его, войска и силы у него убудут. Такой счет ведут и ведут, утешая себя и забывая примеры.

В 1017 году князь Ярослав встретил короля Болеслава со Святополком на реке Буге, тогдашней границе. После длительной стоянки на виду одни у других поляки внезапно для русских бросились через обмелевшую реку. Ярослав бежал с несколькими спутниками в Новгород. Поляки беспрепятственно пошли в Киев, хватая по пути разбежавшихся Ярославовых ратников из числа тех, кто потерял голову. В те годы, как и в позднейшие, война ходила полосою верст в десять-пятнадцать, и беглецам следовало просто-напросто брать в сторону.

Посадив в Киеве князем Святополка, король Болеслав захватил как собственную добычу достояние Ярослава, его мачеху, последнюю жену Владимира, и сестер. За одну из них Болеслав ранее сватался, получил отказ и женился на другой. Теперь он взял и эту, силой, без чести.

В Новгород Ярослав явился беглецом, ни на что не надеясь. Стыдно было ему кланяться новгородцам. Только дух перевести и бежать дальше. Чувя погоню убийц за спиной, Ярослав решил бежать в Швецию. Там не достанет Святополкова рука, там можно набрать дружину и с нею попытаться возвращенье.

Новгород решил иначе. Вече постановило: биться за князя Ярослава, не хотим, чтоб в старших князьях сидел Святополк. Никаких Святополковых сторонников в Новгороде не нашлось, не на ком и сердце сорвать. Бросились к пристаням: князь Ярослав, собираясь в дальнее плаванье с небольшим числом новгородских друзей, грузился на два корабля, способных плавать по морю. Порубили корабли, отыгрались на беззащитном дереве: чтоб не смело нашего князя везти за границу. Мы, Господин Великий Новгород, так решили, тому и быть.

Буйствовать можно с умом, широк человек. Натешившись щепками, новгородцы обложили себя особой данью: на войну со Святополком и ляхами. С бояр – по восемнадцать гривен, со старших домохозяев – по десять, со всех прочих – по четыре куны. Выбрали, кому плыть для найма варягов, и отправили в дорогу.



Текла вода в Ильмень из множества речек, питающих озеро – речной разлив, текла подо льдом, текла под небом, освободившись от льда, собиралась в реку Мутную, будущий Волхов, зимой бурля около моста в незамерзающем месте. Оттуда, говорят, старый Перун, сброшенный в воду Добрыней, дядей Владимира Святославича, погрозил палкой изменникам старой веры: ужо, мол, я вас! И от Перунова пылкого гнева место сделалось теплым.

Текла вода мимо Киева, и многие повторяли ненадоедавшее присловье: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... Стало быть, время рассудит. Стало быть, скороспелое скоро и старится. Сказка-складка – по воле рассказчика...

Быль же складывала сама себя, и по-иному, чем рассчитывали Святополк с Болеславом. В Киеве король Болеслав расплатился с нанятыми германцами и венграми, отослал домой половину своих ляхов. Из оставшихся часть разместил в Киеве, других разослал по ближним городам, чтобы им было легче кормиться, не истощая жителей.

Гуляли по Киеву лихие поляки, очарованные киевлянками. Киевские женщины славились умением красиво одеться, красиво обуться. А уж брови подщипать и подсурмить, ресницы загнуть, глаза некоей тайной сделать невероятно большими, лицо выбелить да подрумянить щечки и губы – так не умели и в Константинополе. Рим, Майнц, Прага, Александрия и прочие города – захолустье. За Киевом тянулись Чернигов, Переяславль, Смоленск. В малом Любече – и то на гуляньях растеряешься: то ли цветок, то ли женщина!

Нежились ляхи в Киеве, нежились за Киевом и – таяли в числе. Как снег. Бывает, в феврале занесет выше окон, а в марте и нет снега, и уж пробиты ногами сухие тропочки. В тот же Любеч послали кормиться восемь десятков, прибежали трое еле живы.

Любеч-то хоть за глазами. Но в самом Киеве, на виду, на глазах Болеслава со Святополком, ляхи убывали, что цыплята у нерадивой наседки. Минет ночь, и утром там тело, здесь тело. Кто бил, за что? Нет концов.

Страшное своей беззвучностью истребление ляхов казалось особенным мором. Хитрые люди поговаривали, не то подделываясь к Святополку, не то коварно вредя ему, что князь-то сам этой тихо проливаемой ляхской кровью намекает своему дружку Болеславу: засиделся ты в гостях на Руси, скучают по тебе поляки.

Храбрый король, собрав остатки своих, ушел в Польшу. Угнал пленников, взятых после победы на Буге, увез казну Ярослава, двух его сестер. Союзника своего Святополка король оставил на попечение Святополковой же дружины.

Князь Ярослав не успел проводить Болеслава. Святополкова дружина и выставленные им ратники были разбиты, как глиняный горшок, не столько мечом, сколько грозным видом Ярославова войска. Святополк, заранее подготовившись, сумел опять и бежать с поля, и уйти от погони.

Он бросился к печенегам, в Дикое поле, так как ляхов он исчерпал. От хана к хану, от рода к роду Святополк объездил кочевья на Донце, на Дону, на Волге.

Святополк пробудил у печенегов замыслы более обширные, чем удачный грабеж во время набега. Князь Ярослав встретил печенежское войско у Альты, близ места, где был убит князь Борис.

Сражение при Альте в своей неумолимой ярости, в стойкости далеко превзошло тяжелую битву с печенегами под Киевом. Начав тоже ранним утром, стороны трижды прерывали бой, изнемогая от усталости, и трижды сходились опять. Печенеги много раз пополняли колчаны, пока не израсходовали все запасы своих легких, но жгучих стрел, и на поле стрелы трещали под ногами и копытами, как сухой тростник. Не образно, но вьявь человеческая кровь текла, скопляясь во впадинах, ибо строй был плотен, раны наносились глубокие, и сильная жизнь сильных людей не угасала до последней капли крови рассеченного тела.

Печенеги пришли как завоеватели, бились стойко, как завоеватели, дабы посадить своего князя Святополка, и стать его дружиной, и поработить Русь себе на потребу. К вечеру русские

пересилили, и оставшиеся в седле печенеги ударились в бегство. С той поры они ослабели душой. Русь перестала казаться обетованной для Степи страной грабежа, легкой наживы. Они потянули берегом моря по старому пути других кочевников: к Дунаю и в империю.

Святополк не ушел в Дикое поле к своим битым союзникам. Такое небезопасно при неудачах замыслов, во имя которых заключают союзы. Союз разрушился.

Один из наемных варягов по имени Эймунд говорил, что он срубил Святополка в поединке на поле сраженья. В указанных им местах не нашли тела. Эймунд не мог показать ни одной вещи, принадлежавшей Святополку. Ему не поверили. Варяги чрезмерно увлекаются собственным красноречием. Так увлекаются, что верят сами: кто же не слышал их саг-сказаний!

Вскоре стали говорить, что Святополк умер, забежав в пустыню где-то между ляхами и чехами. Действительно, он исчез, он умер, ибо был он слишком замечен, слишком хоть и худо, но прославлен, чтоб где-либо остаться в неизвестности. Затем книжники расцветили всенародное убеждение красивыми словами.

Напрасно! Достаточно и того, что к имени Святополка прилипло прозвище – Окаянный. В нашей речи это слово явилось недавно, с распространением христианства, происходя от ветхозаветной повести об убийстве Авеля братом Каином. Кратко, точно: окаинился, окаянный.

Так, в краткости народного известия полнота поэтического выражения сама по себе стала свидетельством его достоверности.

В пустыне кончил дни Святополк. На Руси не было пустынь. Стало быть, мать сыра земля отказалась от окаинившего себя князя. Казнила его одинокой гибелью в сухом месте, где ни деревца, ни кустика, ни травы, ни ручья, где не греет русское солнышко, а льет пламень злое светило.

Но все же это известие, зря превращенное в устрашающее сказание усердными книжниками, вполне человечно не отказывает Святополку ни в страхе, ни в отчаянии. Страх и отчаяние суть дороги раскаяния. Раскаяние тоже было новеньким словом, по-русски отчеканенным из Каина: широта русской мысли не могла ограничить себя одним направлением – окаиниться. Требовалось второе, обратное, – раскаиниться, раскаяться. Значит, мог Святополк Окаянный понять зло, причиненное людям. Бежал он не гонимый Судьбой-Фатумом, предначертавшей ему несчастья еще до рождения и в непознаваемых целях. За ним не гнались некие божественные мстители, его не преследовал новый Ангел с огненным мечом. По исконным собственным русским воззрениям на внутренний мир человека и на обязанности другим людям, Святополк бежал от собственной совести. Да разве от нее убежишь!

Свое сочувствие к князю Ярославу и его сподвижникам Русь выразила таким замечанием: «После победы на Альте Ярослав, сев в Киеве с дружиной своей, отер пот».

Вновь встречаем выражение крепкое, краткое. Такими словами не привечали случайных удачников в малозначащих для Руси столкновениях.

Старшинство по рождению давало преимущественное право и на обычнейшее наследование родительского имущества, и на княжение. Корень славяно-русского обычая, как и обычая многих других народов, уходит во времена настолько удаленные, что нечего искать давно истлевшее семечко, от которого пошел и корень, и само дерево. Смысл же сохранялся по своей человеческой естественности. Право старшего идет от необходимой для отца с матерью заботы о детях, от обязанности старшего в семье занять место отца, ушедшего из жизни.

Будучи принят в Киеве по естественному праву старшинства, по очевидной для киевлян способности Ярослава княжить, он не выполнил обязанности к младшим братьям. Мстиславу Тмутараканскому старший предложил Муром еще до своей победы над Святополком. Судиславу, сидевшему во Пскове, пришлось там и остаться. Судислав, человек слабый волей и умом, выражал свое недовольство в неразумных словах. Мстислав мог принять Муром, но Мурома было маловато для Тмутаракани.

Тмутараканское княжество лежало в устье, через которое Сурожское море выливает излишек своих пресноватых вод в соленое Русское море.

Греки, а за ними римляне называли Сурожское море Меотийским болотом. Не случайно – оно мелководно, вода его в иные годы бывала почти пресной и к осени зацветала. Впадающие в Сурожское море реки еще совсем недавно были богаче водой, на большей части своего протяжения были закрыты лесами, сток воды обладал постоянством, пища для рыбы сносилась в изобилии, а лучших нерестилищ, чем сурожские реки-притоки, не бывало нигде.

Болото болотом, но берега Сурожского моря, изобильного отличной рыбой, были подобьем земли, которую Бог обещал иудеям, чтобы вывести их из Египта.

Пусть солнце выжжет степь, пусть засуха и мор покончат с домашним скотом, птицей, диким зверем – Сурожское море прокормит. Без всякой снасти с берега шестилетний ребенок на один крючок за утро наловит рыбы, которой хватит на большую семью.

Пролив назывался Боспором – Босфором Киммерийским. В узком месте его ширина была меньше трех верст, к Русскому морю он расширялся верст до пятнадцати-двадцати. Скалы и подводные камни слеплены из древних раковин и облеплены живыми вкусными мидиями. Мидии висят, удерживаясь волокнами, из которых некогда делали ткань, знаменитый виссон; они неимоверно плодильны: не соберешь, не выберешь. Сбор легок, старик со старухой наполняют мешок за мешком, только успевай увозить.

Дон и Кубань вступают в Сурожское море медленным током через разветвленные рукава, с низкими намывными островами, с мелями. Здесь тростниковые чащи, в которых неосторожному легко заблудиться и погибнуть, пешком ли, на лодке ли рискнув забраться поглубже, не зная дороги и не оставив примет для возвращения. Круглый год камыши кишат водолюбивой дикой птицей, которая при всем своем множестве не в силах выесть бесчисленные личинки насекомых и повредить водяным растениям.

Ядовитых или вредных рыб нет, но здешние жители в рыбе разборчивы. Настоящей добычей считают белугу, осетра, однобокую камбалу с колючими шипами, крупного белотелого лобана. Прочих называют: бель, разнорыбица. Названий наберется больше двух сотен, ценят десятка три. Для местных рыбаков, вопреки пословице, поиск лучшего не вредит хорошему. Впрок рыбу вялят, солят, коптят. Соль своя, под рукой.

Ниже узкого горла пролив сразу расширяется, течение, слабея, отходит то к правому берегу, то к левому, размешивая мутные пресноватые сурожские воды с горькими прозрачными водами Русского моря. Здесь берега на большей части своей крутообрывисты и высоки на несколько сажен. Внизу залег узкий бережок. Чуть разыграется море, и волны бьют в самую кручу, рушат ее, унося избитые в мелочь обломки. Год от года стена отступает, но остается стеной. На подслоях из рыхлого камня-ракушечника лежит слой толщиной в два-три человеческих роста плодороднейшей почвы. Все растет, что ни посади. Деревья обильны плодами, не жалуются люди и на поля. Лето засушливое, сеять спешат, урожай готов в первой половине лета. Изредка бьет засуха – не собирают и семян. Но голода не бывает. Море кормит, дает товар для продажи, и в самый худой год у жителей есть на что купить привозного зерна.

Сеют овес, ячмень – без них нет силы у лошади. Тмутаракань молится на коня – такая здесь жизнь. В старые времена, говорят, были здесь храмы, посвященные богу в образе лошади. Ныне такого не положено. Иначе русские тмутараканцы выразили бы свою любовь и в тесаном камне. Благо здешний камень красив и мягок, тешется легко, как дерево.

Сеют просо, оно дает большой приплод даже в сушь. Еще сеют сурожь. Приставка «су» по-русски означает смесь. Суглинок – смесь глины и песка, в которой больше глины. Супесь – такая же смесь с преобладанием песка. Сурожь – рожь с пшеницей. Рожь крепче, неприхотливее, ржаная солома выше пшеничной. Поднявшись от смеси семян выше пшеницы, рожь защи-

щает сестру от засушливых ветров, от чрезмерности зноя, и пшеница просит меньше влаги для своей соломы, лучше наливает зерно.

Кто придумал смесь хлебов и слово? Кто скажет? Однако «сурожд» – слово чисто русское. Есть два города, называющиеся Сурождом. Один – в Таврии, на берегу Русского моря, не так далеко от пролива, другой – на Руси. Почему Меотийское болото перекрестили на Сурожское море? Что от чего? Море назвали из-за того, что на его берегах начали сеять сурожд? Либо сурожд окрещена от моря? Круг замкнулся; не приходится искать, где начало обода, где конец: старые кузнецы гладко сварили полосу.

Сев на проливе, Тмутараканское русское княжество взяло клещами Сурожское горло. На восточном берегу – крепкий город Тмутаракань, на западном, таврическом, – Корчев.

Темной ночью с верховым ветром на гребном судне можно выскочить из Сурожского моря в Русское. Высокому кораблю лучше не искушать и море, и бога. В темноте волны и ветер бросят тебя на длинные мели и потащат к крутым берегам либо к соленому озеру. Сам погибнешь, потопишь товар. Из Русского моря в Сурожское тоже не прокрадешься темной ночью, и низовой морской ветер не в помощь будет.

Плыть нужно днем. Тмутараканцы пускают всех, кто платит пошлину, считая таких друзьями. А недруга возьмут в узости с двух сторон и раздавят, как орех: ядрышко себе, скорлупку на дно. Тмутаракань – место удивительно удобное. Выдумать нужно было б ее, коль бы сам бог не изготовил.

Одно плохо – мало сладкой воды. Колодцы редки, приезжие бранят колодезную воду – горька. Верно, привычка нужна. Тмутараканцы и корчевцы умеют копать в подземных хранилищах дождевую воду, и у них она за все бездождное лето не портится, свежа и чиста, как роса. Здесь в большом ходу кузнечное и оружейное дело – свое железо копают под Корчевом. Много работают с бронзой, золотом, серебром, медью, льют и чеканят украшения, простые и с эмалью, из цветного стекла плавят бусы, браслеты. Сбыт обеспечен, ибо место торговое, по Дону, Кубани, по всем степным рекам и речкам пути, а Тмутаракани не минешь.

Гончары обжигают посуду простую, цветную, с поливой, по заказу и в торговый запас, от корчаг ведер на сто до крохотной мисочки с крышечкой для румян, для притираний и детских игрушек – свистулек, куколок, зверушек.

Места обжитые, насиженные людьми уж очень давно... Идя по своему делу в тихую погоду бережком под кручей, замечает тмутараканец: из срезанного недавним обвалом берега торчат черепки. Кое-как дотянувшись, он вытащил три обломка. Концы, которые торчали, обветрило, они стали светлы. Что было в земле, темно, как земля. Обмыл в море – и цвет сравнялся. Куски от большого горшка, работа, как нынешняя. Тот же вымес глины, тот же излом. Да и цвет тот же. Значит, глина была взята там же, где и ныне берут. Море в проливе постоянно выметывает черепки, это привычно. А в земле? Задрал голову, тмутараканец меряет взглядом. Сажени две землиросло над тем местом, где когда-то разбили горшок. Когда ж это было? Как видно, еще до потопа, в дальние века. Бог, смутившись дерзновением строителей Вавилонской башни, смешал речь, тем разогнав людей в разные страны. А после потопа люди, опять размножившись, сюда обязательно явились. Бросив черепки в сумку, которая висела на пояске, тмутараканец пошел дальше, размышляя над находкой. Встречались ему и раньше следы старины под лопатой, но особенных мыслей не приходило: откуда, да что, да когда. Но эти черепки говорили будто голосом: сама земля на нас выросла, нас никто не прятал.

Море, пролив, бережок, круча над бережком, за кручей – тмутараканские земляные валы с каменными стенами по валам, с башнями, с площадками для боевых машин. К востоку степь с увалами, с холмами, с черневыми лесами в низких местах. Собственная тмутараканская земля идет на восток на сорок верст до болотистого кубанского устья. За ним вдаль видны заросшие лесом горы. В предгорьях реки, речки, по речным долинам хватает на всех и лесов, и полей. Земля считается касожской, за касогами – аланы. На деле же кого-кого там нет. Все

– как обрывки, остатки. Найдутся хозары, как и в Таврии. Среди хозаров есть признающие закон Моисея, хотя от иудействующих хозаров истые иудеи отмахиваются пуще, чем от людей, поклоняющихся самодельным божкам. Есть роды, объявляющие себя гуннами, готами, уграми, обрами, торками. И еще какие-то, с трудными названиями племени. По вере встречаются христиане разных толков, обращенные некогда проповедниками-греками, изгнанными из империи за ереси. Последователи Магомета распространяют свой закон медленно, но верно. Военственные заветы пророка и блаженство рая, обещанное храбрым, приходится по душе многим. Мешает разноязычие, родовая вражда и стеснительность правил ислама.

Тмутаракань устроена к югу от долины, выход которой к морю понижает берег и делает удобной высадку. Здесь тмутараканские пристани.

Матерой тмутараканец со своими черепками – находкой – брел и брел под кручей по желтопесчаному бережку, по черному, где тлела выбитая волной морская трава, пока ноги не вынесли его обогащенную думой головушку за мысочек, пока шум на пристанях не вернул его из неизвестного прошлого в сегодняшний день.

Опомнился – черепки-то мозги вышибли! Он ведь сюда и шел, проводить князь Мстислава-то Владимирича!

Ветер низовой, с моря, тянет слабо, к вечеру стихнет, наутро повеет опять. Быть хорошей погоде до нового месяца! Сурожское море по мелкости своей злобно. Волна бьет о дно, гребни ломаются круто, буря на Сурожском море вдвое опаснее, чем на Русском. Ныне доплывут спокойно. Мы, тмутараканские, знаем, когда гнать, когда под берегом стоять.

Проталкиваясь в густой толпе, старый тмутараканец кого по плечу хлопнет, с кем, глазами встретившись, поклонится, кому голосом пожелает здоровья, старуху спросит, как ноги-то носят? Носят еще? И ладно нам. Молодую приветит, цветешь, мол, цветиком полевым, нет, ухоженным, стало быть, хороша ты породой да повадкой. Мальчонку привлекает шлепком. В трех- либо в четырехтысячной толпе все между собою знакомы, гуд идет, как на торге в Корчеве, где встречаются двенадцать на двенадцать языков.

И – смолкли: коней ведут! Попятились, оставив широкую улицу, ценят глазами. По толстым плахам пристанских настилов раскатывается копытный стук. И сюда гляди, и здесь не упусти, что ты скажешь, беда!

Тмутараканские кони ведут свою породу от отборных жеребцов, от известных маток. Кони крупны, но не тяжелы. Конская сила в крепости кости, в жилах. Избочившись, выкатывая кровавый глаз, идет вороной жеребец в руках княжого стремянного. За ним ведут коня самого стремянного. Княжой стремянный – большой человек, у него свои стремянные.

Подыгрывают кони. Не кони – дружинники коней горячат, красуясь перед товарищами, перед молодцами, перед бойкими девицами, перед красными вдовами. Здешные киевлянкам ни в чем не уступят.

На Русь уплывают, да... По перекидным мосткам свели коней в корабли. На весь залив заржал княжой вороной; как петухи, ответили другие; из крепости, прощаясь, нежным голосом высоко пропела молодая кобыла. Будто бы грустно становится, други, а?

Разгружают возы. Несут длинные укладки с оружием, несут мешки, тюки с едой. Споро, быстро, без спешки, ничего не забудут, не в первый раз, давай бог, не в последний.

Вот и князь! Желая удачи, каждый в толпе свое заорал, слов не понять и семи мудрецам. Мстислав Владимирич, прозвищем Красный – Красивый, в широкой рубахе, в широких штанах с напуском на мягкий касожский сапог, приветствуя своих высоко поднятыми руками, шагал саженьями – так убирают восемь верст в час. Богатырь! Летит – сама земля его вверх толкает. С пристани прыгнул на корму своего корабля, взяв с места сажени две, и все тут. Во всем подражая князю, дружина спешила, едва не наступая друг другу на пятки, а жены бежали бегом.

Жен было мало. Мстислав не любит длинных проводов и оставил княгиню дома лить слезы, проклиная злую разлуку. Живет князь нараспашку, ему таить нечего, и вся Тмутаракань знает, когда ему доведется поспорить с любимой, а когда у них мир: оба горячи. На войне у Мстислава лед в голове, дома иное – не враги же, свои.

Случалось же иной раз и такое, что возьмет княгиня своих девушек и нарочно перед баней пройдет по улицам, а баня у себя, на княжьем дворе. Нет же, все знайте, обижена я вашим князем и в баню его не взяла, отлучила от себя, как пса от причастия. Наберет встречных девчонок-замарашек к себе в баню и вымоет. Смеется Тмутаракань, а ей любо. Да и людям, правду сказать, любя княжья простота: нами не брезгают, и мы не побрезгуем.

Лошадей насчитали больше сотни, дружины – до семисот. Что Мстиславу! Пойдут степью от Донца, купят, наловят либо так возьмут печенежских коней. Киевский князь Ярослав сломал печенежью спину у Альты. Совсем ли – время покажет, но ныне печенеги присмирели, где им путаться под ногами у Мстислава.

Смотри-ка! Уже отплывают! Замелькали багры, толкаются в пристани. На мачтах паруса поползли вверх и надуваются, поймав ветер, и серая парусина под солнечной лаской становится белой: привычное чудо, а все ж красота!

– Расступись, расступись!

К пристани скакала княгиня. Не послушалась, не усидела дома. У края причала, откуда отошел княжой корабль, остановила коня, кричит. Что? Слов не слышно тебе, да к чему слушать-то! Что добрая жена скажет мужу на прощанье: люблю, возвращайся...

Князь замахал руками, а причалы и берег утихли. Донеслось с моря:

– У-уу... Уууу-у...

Первое слово – люблю. Княгине послано? Всем. Как и обещанье вернуться...

– Заметил? – спросил бывалый тмутараканец товарища. – Взял он наших, русских, немного, и все-то из старших, бояр, для распоряженья, совета. А так все касоги, хозары, варяги, греки, торки, печенеги.

– Как сказал, так он и сделал, – отозвался товарищ. – На нас, стариков, оставил Тмутаракань да на русскую дружину. Разумник князь-то.

И пошли они в крепость-город, толкуя о деле, решать которое пустился князь Мстислав. Брат его Ярослав и воин знатный, и князь мудрый. Окаянного сбил, печенегов смирил, устроил тишину на Руси. В одном плох – несправедлив к брату. Не наделил его из выморочных волостей, дает Муром и говорит, что Тмутаракань богаче Киева. Что нам в золоте! И дальний Муром, право же, в насмешку предложен. Нам в Тмутаракани люди нужны, нам нужны южные волости, чтобы из них Тмутаракань пополнялась русскими людьми. Иначе зачахнет русский дух и здесь, и в Таврии.

Обсудили. Тмутараканец вспомнил черепки, брэнчавшие в сумке. Обсудили и их, но не сошлись в счете лет давности. Находчик черепков жил в каменном доме, строенном отцом его тому назад лет шестьдесят. Стали мерить, насколько земля поднялась от пыли. Спорили, ссорились, путались, и пришлось отдохнуть. Засев в садовую тень, вспомнили свой последний поход на касогов, после которого касоги, присмирив, с Тмутараканью примирились.

Редедя, касожский князь, а по-гречески Редедос-кесарь, взамен общего боя предложил Мстиславу божий суд – поединок.

Сердце изныло глядеть, как княжьи шлемы иссекли, щиты расщепили, латы помяли, оружие поломали и сошлись бороться руками. Почему легче самому делать, чем смотреть на тяготы другого?

Редедя – Редедос был богатырь телом, крупнее Мстислава, и все ж Мстислав пересилил, хватил оземь через колено и довершил его жизнь ножом. Касоги сказали – помиловал: поихнему, для побежденного нет солнца.



По условию касоги отдали Мстиславу семью Редеди, казну, лошадей и скотину, и еще Мстислав наложил на них дань. Семейю Редеди Мстислав там же отдал касогам за выкуп, и много они заплатили, чтоб уйти от бесчестья.

До того времени иные касоги, поссорившись со своими, убегали в Тмутаракань. После победы над Редедью многие храбрые витязи – рыцари касожского рода пришли проситься на службу во Мстиславову дружину. Народ они верный, честь чтут до смерти. А все же лучше, чтобы к нам побольше шло своих людей, с Руси...

В память победы Мстислав на выкуп Редедыевой семьи построил храм Деве Марии, княгиня у него крещеным именем тоже Мария.

Отдохнув, пошли старики к храму. Чист, как снег, белого тесаного камня, купол сведен баннным строением, а не шатром. Откуда ни взгляни, нет красивее ни в Корчеве, ни в Суроже, ни в Киеве.

Попробовали измерить, насколько земля наросла у храмовых стен, поспорили, сколько на год приходится и от каких людей черепки: один кричит – до потопа, другой – после, зато сразу, как земля высохла.

Признав – темное дело судить о прошлых веках, пошли молча, думая каждый о своем. Находчик черепков вспомнил, что нужно заутро плыть к сыну в Корчев, для чего можно уже с вечера погрузить в лодью готовую гончарину: море будет стоять зеркалом. Другой думал, как будет мирить дочь с мужем ее. Молодые-то умны, но не притирчивы друг к дружке, семейная жизнь не проста. Как мирить? За Корчевом на сурожском берегу, близ межи с греками, сидит брат, дочке дядя. Греческая межа спокойна всегда, как нынешнее море. Скажу, весть получил – болен брат, и поплыву к нему вместе с дочерью. Там ее до времени и оставлю. Есть между ними любовь – опомнятся, сбегутся. Нет любви – лучше смолodu разойтись, чем век маяться.

Потом думы друзей полились одним руслом, что прав князь Красивый, взяв с собой инокровных дружинников. Таким, если Ярослав со Мстиславом не урядятся, легче будет биться и кровь лить. Перекинулись словами о днях, когда сами они ходили в последний поход. Отяжелели тогда; от скачки, от копы с мечом кости попросили покоя. На тмутараканских стенах, если придется, они покажут себя молодым за пример. На месте. В седле скакать и своими ногами бегать не нужно.

Текли увесисто, твердо ступая, и мысли, и двое людей. Черепки прошлых дней колебались в душе, как ракушки, когда их выносит и тащит прибоем назад. Память – зеркало, коль нет в ней ничего, кроме твоего отраженья. На волю бы. Все ты привязан к земле, как бык в стойле.

– Как думаешь, – спросил один, – здесь до нас сколько людей свой век отжило? Сколько звезд в небе? Иль меньше?

– Больше, – ответил второй. – Делали, как мы, такие же были, оттуда же глину копали, так же огонь в печи разводили, так же смеялись, любились.

– На месте живем, но будто бы и движемся куда-то все вместе.

Взглянули на море. Низовой ветерок нес прохладу и надувал паруса кораблям князя Мстислава. А княгиня-то плачет? Нет, и от себя слезы спрячет такая.

Дети, идя из школы, кланялись старшим. Учитесь, учитесь, в Тмутаракани неграмотному – полцены, грамотному – две. Вам жить.

– Да, друг-брат, страх, пока сидишь, как свинья, в своем закутке. А вышел на волю, мысли раскинул – нет страха, не боишься ни боли, ни смерти.

– Да что человек! Как ветка на дереве. Растешь, разветвляешься, плод даешь и... – Не находя слов, матерой тмутараканец раскинул руки.

Спешившая навстречу молодайка, поклонившись старшим, спросила нарочито скромным голосом:

– Чтой-то вы размахались, бояре? Аль с солнышком не поладили?

– Да мы так, рассуждаем по-стариковски.

– Старики! – лукаво протянула молодка. – Зелен виноград – не вкусен, млад человек – не искусен. – И вильнула своей дорожкой, запев песенку о князе-вдовце, который вздумал сына женить поскорее, но красавица-невеста не сына, отца на себе поженила и подарила ему двенадцать сыновей-богатырей на зависть всему белому свету.

Пошли своим путем и друзья, невольно расправив плечи по-молодому. Успеется еще в землю-то лечь, туда не опоздаешь, как и на тот свет.

Верно. От повестей о поздней любви не пусты русские были и ромейские преданья, а в Священном Писании таких примеров не счесть. Бывалому больше нужно, чем молодому. И то сказать, лечь в домовину успеешь, земля в твой час возьмет тебя без укора, что ей! А на том свете Божий ангел не спросит, сколько времени ты, душа, жила в русском теле и сколько любила, а спросит, много ль добра совершила и какого наделала зла... Так, что ли, друг? Так, видно.

Гляди: до Донца на запад, на север легла безмерная ровность. За нею черта, будто проведенная по пергаменту свинцовым стилосом. То всхолмления над невидимыми от реки балками. А дальше – степная ширь, и туманится она, и течет, и струится к земному окоему, но не виден окоем, и мгlistая степь свободно восходит к небу, будто бы ты начнешь там подниматься на небесные своды не по лестницам, на ступенях которых тяжело трудились святые, а по глади, манящей полетом.

Здесь, в донецкой излучине, такое всегда виделось князю Мстиславу, и всегда обманное это виденье напоминало о дороге на небесную твердь, которой, по вере дедов, восходили русские души, и всегда тешился он мыслью – не страшно ему, нет смерти. Он, христианин, уважая веру предков, не знал за собой бесчестья ни в старом, ни в новом законе.

За ивняком, который венчает донецкий бережок, ходят табуны коней, подаренных печенегами посланным князя Мстислава. Дар обойдется дороже, чем купля: отдариваются щедро, чтоб не потерять лица, но таков обычай в Степи. Князевы посланные отобрали пятнадцать сотен коней. От Донца дружина пойдет о двуконь, ветра быстрее. Пока же быть стоянке на три дня, чтоб дружинники разобрали коней и смирили крутой нрав новых своих скакунов.

В княжеском шатре приподняты края, чтоб ветерок, ускользнув от яркого солнца, нес полынный дух, горечь которого сладка тем, кто хоть день прожил в степи. Да будет вечна вольная степь!

Ковер на полу шатра выткан красной и черной шерстью. В узоре заботливая рука мусульманина-ковровщика скрыла под острыми углами рисунка души растений: Бог изрек Магомету запрещенье верным изображать что-либо живое, но таить его в рисунке не запретил. На ковре расставлено тмутараканское угощение. Мстислав чествует хана Тугена. Тугеново колено пасет свои стада на западных от Донца угодьях. Хан подарил князю живое золото, князь отдалился простым.

Хан благостен, многословен. Цветисты степные речи. Кочевник умеет свои слова сплетать такими венками, что глуп будет ищущий в них некую общую правду. Надобно просто понять простое же: искусный плетельщик сам верит плетению, в котором сегодня одно, а завтра другое.

– Ты гость наш, гость, князь, иди, живи, бери все, что хочешь, – приглашал Туген. – Я твой друг, клянусь небом, я хочу любить тебя. Истину говорю – хочу. Любовь женщины зависит от силы подчинившего ее, любовь мужчины – от уважения к другу.

И хан говорит, говорит... Поломал печенежью спину князь Ярослав. Теперь торки, старые соперники печенегов по заволжским кочевьям, собираются к волжским переправам – мало им старого места! Тесно в степи, тесно, степная вольность подобна весне – быстро минует она, и вновь ищи нового, вновь уходи. А! Мир велик!

Сломав печать на глиняной фляге, покрытой гладкой поливой, Мстислав налил серебряную братину, сам отпил и передал хану:

– За дружбу!

Хан сказал:

– Чтоб была между нами любовь, пока не поссоримся, ибо вечного нет! Чтоб любовь между нами не потерялась от случая. А нарушится – так из-за дела, и не стыдно нам будет обоим вспоминать слова этого дня!

Так будет, и что же сказать, и чем же поклясться, чтобы стало иначе между Степью и Русью? Чем? И зачем? Не изменится нрав кочевника, и русский не может иначе, как ответить ударом на удар. Так будем жить сегодня, не думая о завтрашнем дне. Сильный с сильным могут друг друга понять.

Выпили. Еще налил русский, и вновь пили оба. Довольно!

– Теперь мы сыты и нам хорошо, – сказал Туген. – Послушай внимательно мой рассказ, русский друг.

И начал:

– Однажды кочевники спросили случайного гостя: «Ты видел горы?»

«Видел».

«Какие они?»

Рассказывая, он истратил все слова, что знал. И его спросили опять:

«Какие же горы?»

Его вновь терпеливо слушали, кивая головами: да, да. Когда у него ссохлось горло и язык стал твердым, они спросили:

«Что же это такое, эти горы, о которых ты говоришь?»

В степи и до края, и за краем неба не нашлось бы ничего выше верблюда. Посмотрев на юрту, гость сказал:

«Поставьте одну юрту на другую. И еще, и еще. Десять раз по десять юрт, и еще десять по десять, и еще десять раз десять по десять».

«Зачем это делать?» – спросили кочевники. – Ветер унесет юрты, и у нас нет столько юрт. И здравомыслящий человек не ставит юрту на юрту, он разбивает их рядом. Мы просили тебя рассказать о горах, ты говоришь о юртах».

Гость возразил:

«Я рассказывал, я не могу рассказывать лучше».

Кочевники, стыдясь за него, опустили глаза.

Его положили спать на почетное место, самое дальнее от входа, и дали женщину, как полагается по обычаю. Утром его накормили, наполнили едой седельные сумы. Его проводжали двое – старый и молодой. В середине дня они остановились у источника сладкой воды.

«Здесь мы тебя оставим, – сказал старший, – это граница нашего племени. Ступай дальше без страха. Ты один. Мы в степи ничего не чтим, нам ничто не свято, кроме гостеприимства. Псылай коня туда». – Старший указал дорогу.

Степь лежала ровная, как утреннее озеро, и нежная, как щека девушки, ибо это было в начале весны.

Старший, приказав младшему ждать, проводил гостя за границу на два полета стрелы и сказал:

«Теперь для меня ты больше не гость. Я могу спросить тебя – кто ты?»

«Беглец. Я слагал песни, рассказы, притчи. Я поэт. Я неосторожно оскорбил эмира. Там, – гость указал вдаль, – есть страна, откуда в наш город приезжали купцы. Я подружился с ними. А назад для меня нет пути».

«Может быть, может быть, – согласился кочевник. – Может быть, тебя не забыли друзья. Надейся. И прими мой совет: не рассказывай в степи о горах, а горцам о степях».

«Ты знаешь горы!» – воскликнул поэт. – Так почему же...»

Подняв руку, старший кочевник остановил своего бывшего гостя:

«Ты много говоришь. Ты спешишь спрашивать. Думай. Молчи и будь осторожен. Обижаются не только эмиры».

– Благодарю, – сказал Мстислав. – Вспоминается, я слышал подобное. Но те рассказы перед твоим – мул перед конем.

– Да, да, – сказал Туген, – язык часто выталкивает слова для развлечения. Я хотел моим рассказом склонить ухо твоего разума.

– Ты успел в этом.

– Коль так, я рад, – подхватил Туген. – Я не хочу быть неразумным, как беглец из рассказа. Я отдам тебе, князь, нечто значительное. Пойми меня, не оскорбись. Прими же, я возвращаю тебе, князь, ибо это – твое, – значительно закончил Туген. Положив руку на обитый кожей ларец, который он принес с собой, хан поднял вверх глаза, читая немую молитву. Затем, привстав, он вручил князю даримое.

Мстислав отстегнул застежки, приподнял крышку и снял шелковую подушечку, сохранившую содержимое. Внутри ларца, как в гнезде из пуха, сидел верх человеческого черепа. Черновато-серая кость была обделана серебром по краю. Печенежская застольная чаша! Не прикасаясь, князь поднял глаза и посмотрел на хана. Тот трижды кивнул, отвечая на немой вопрос, и закрыл глаза, чтоб оставить внука наедине со священными для него останками деда.

Смерть – удел каждого. Для того, кто стремится к высокому, чьи мысли летят и чьи желанья жгут, тело бывает на долгие дни подобно свинцовым якорям, которые удерживают галеру. Бояться дедовской кости! Не было страха.

Все глядят вверх, на великих счастливых людей: они, нагрузившись армиями, оружием, коронами, крепостями, морями, и вершинами гор, и толпами подданных, и звездами с неба, выбили глубокие колеи, испестрили землю каленым железом своих маленьких ног, сделав ее неровной и жесткой. И мы, слепые, слепо кружим и кружим, выходя на их следы. Но есть другие, они тоже оставляют следы, большие следы, которых не видно, так как мы все помещаемся в них.

Внук княжил во следу, оставленном пяткой его деда. Святослав жил, веря, что ему дано обладать землями по праву потомка Дажьбога, по праву рожденного, а не сотворенного, как сотворены бык, дерево, рыба. Поэтому он отказывался стать христианином, поэтому он презирал роскошь в одежде и пище, эту радость рабов. Он постиг искусство управления людьми и тайны войны, не достигнув двадцатилетия.

Как потревоженная раковина неощутимо ослабляет свой костяной створ, чтоб через невидимую щель почуять, ушел ли нарушитель ее покоя, так хан Туген ослабил веки: прикоснулся ли русский к старой кости? Нет.

Более двухсот лет тому назад хан Крум в ночном бою разбил ромеев и сделал чашу из черепа базилевса Никифора Первого. Печенеги потешились над телом Святослава пятьдесят лет тому назад... Но сам Святослав не тешился останками побежденных. Мстиславов дед не мешал себе на войне смрадом ненависти, изжогой зависти. Посылал сказать – иду на вы, и приходил, и побеждал. Ему не исполнилось двадцати четырех лет, когда он отбил у хозар охоту ходить в вятическую землю. Бросился на Дон, сломал хозар в чистом поле, взял Саркел – Белую Вежу, прыгнул на юг, победил ясов и касогов, вырвав их из хозарского союза. Тогда-то и была Святославом заложена Тмутараканская крепость – чтоб Русь, держа Сурожское море, взяла в руки второй ход в Русское море.

В следующем году Святослав распорядился на Каме, разорил столицу хозарских союзников – булгаров, смирил бургасов, сплыл по Волге, разметал хозарскую столицу Итиль, вышел в море и разгромил хозарский Семендерем. С того времени не стало слышно хозарского имени.

Мстислав видел в деде не воина, а великого военачальника. Читая о делах прославленных в книгах полководцев Рима, Греции, о делах вождей готов, франков, внук думал о Святославе

как о великом умельце войны. Летописцы пишут красиво – прыгал как барс. Барс – зверь кошачьей породы, его бег короток. Святослав прыгал на сотни верст сразу, и всегда его люди и кони были сыты, ибо пути он выводывал, и обозы его летели, будто на крыльях, и вызовы слал не от лихости, а по воинской мудрости. В чистом поле ему не было равных, и воюют не для войны, а для мира, мир берет тот, кто сразу сломит врага.

Великая мудрость жила в Святославе, молнии мыслей полнили дедовскую кость. Злой дар и добрый дар сразу поднес печенежский хан... Мстислав взглянул на Тугена – сидит, как спит, и дышит ровно, и веки не дрогнут...

Вновь забывшись, Мстислав дивился тому, как вселенная вся целиком помещается в малом черепе. Там и небо со звездами, и толпы мыслей, и свитки памяти неизмеримой длины живут вольно, не теснясь, не толкаясь. Там же меры зла и добра, там же совесть – советники души, без которых ничто не возможно.

Не обманул ли печенег? По их вере, можно чужого как хочешь обмануть. Нет, коль печенег клялся дружбой и ел вместе с тобой, он не солжет – небо накажет его через совесть. У печенега хоть и своя, но есть мера добра, он человек. Нельзя быть лишь с теми, кто меры лишился.

Недавно чаша из русского черепа, пройдя много рук, досталась Тугену в наследство. И дух страшного воина, бродящий в степи без могилы, являлся хану во сне. На что печенегу хвалиться былыми победами – мы живем сегодня, и прошлого нет. Русь нависла над Степью, пусть русское вернется к русскому.

Опустив на кость шелковую подушку, Мстислав затворил ларец, и Туген раскрыл глаза. Русский князь не прикоснулся к родной кости, благородно не осквернив ни предка, ни себя.

Мстислав стянул с пальца перстень, в котором, схваченный чеканными лапками, сиял камень-самоцвет размером в лесной орех, и отдал Тугену – не плату, а знак дружбы.

Мы навязываем врагу долг нашей собственной крови, мстя за тех, кто пал в бою. Мстислав вспоминал слова философа, который назвал такую странную непоследовательность извечной, неизгладимой. Но сам он был свободен от желания мстить. Извечна война, но месть – плохой воин. Это кость, о которую ломают и зубы, и меч, это соблазн и призрак. Брат Ярослав горько обидел его по разделу. У Мстислава не было злобы на брата. По Мстиславу, брат, озлобленный борьбой со Святополком, забыл меру добра. А насколько забыл – дело покажет.

Как снимались с донцовского берега, князь Мстислав повестил, чтоб все брали дерево, – будет большой костер. Сложили его верстах в пятидесяти от реки. Забравшись на ершистую гору, Мстислав спрятал наверху нечто малое, закутанное в шелковый плащ. Князь ночевал у костра и перед рассветом сам запалил его.

Базилевс Никифор Второй прислал князю Святославу полторы тысячи фунтов золота в дар и просил помочь против задунайских болгар. Посол нашел русского князя в дни свободы после хозарской войны и не золотом его соблазнил, но мыслью о завоевании земель. Святослав пошел в Болгарию, и взял ее, и оставил себе, пожелав в городе Переяславце на Дунае сделать середину своих владений. Кто знает, думалось Мстиславу, что получилось бы, если б империя сумела, примирившись со Святославом, сделать из него союзника? Но ромеи подкупили печенегов, те подошли к Киеву, и Святослав вернулся, чтоб разбить степняков.

Когда дед вернулся на Дунай, Никифора Второго не стало. Его предшественник был отравлен женой, гречанкой Феофано, которая, как утверждали, превосходила красотой Елену Троянскую. Став сама базилиссой, Феофано по расчету взяла в мужа-соправителя полководца Никифора, бывшего на двадцать лет старше ее. Но вместо слуги нашла господина для себя и империи. Никифор укрощал знатных, отобрал лишние земли у духовенства. Их он смирил бы, но Феофано обещала родственнику Никифору Иоанну Цимисхию свою любовь и диадему базилевса за избавление и от этого супруга. Темной декабрьской ночью в снежную бурю Цимисхий в лодке подплыл к стене, ограждавшей Палатий с моря. Заговорщиков подняли наверх в

корзинах, они прокрались в покои Феофано, ведомые евнухами, ворвались оттуда в спальню Никифора, у которого заранее выкрали оружие, и выместили на нем свой страх.

Наутро палатийская охрана и ближние сановники признали Цимисхия базилевсом, но, нечаянно для Феофано, столичное духовенство восстало под водительством патриарха. Цимисхию отказали в венчании на престол, пока он не очистится от подозрения в убийстве Никифора, пока не покарает убийц. Помощники Цимисхия отправились в вечное заточение, Феофано вместо нового мужа получила тесную келью в глухом армянском монастырьке, где монахини, не ведая и слова по-гречески, ужасались преступной затворнице. Цимисхий же дал клятву, что и в мыслях не лил крови Никифора, что Феофано обманом заманила его в страшную ночь, чтоб запутать в преступлении, и все свое немалое достояние, до последнего обола, отдал на благие дела. Таков был второй соперник Мстиславова деда.

Святослав не только побил печенегов под Киевом, но взял многих в войско. Вернувшись на Дунай, он заключил союз с мадьярами. Овладев всей придунайской Болгарией, Святослав перевалил через горы, взял в плен болгарского владыку Петра, но под Аркадиополем многоплеменное войско русского князя потерпело поражение. Вытесненный из Болгарии, Святослав был осажден в придунайском городе Доростоле, заключил с Цимисхием мир и ушел за Дунай с двадцатью тысячами войска. А потом с дружиной в несколько десятков мечей, поднимаясь по Днепру, был он застигнут у порогов печенегами, подкупленными Цимисхием. Святославу исполнилось тридцать лет, таким он и остался в земном образе – ровесник своему внуку Мстиславу.

Буйствовало пламя, разрушая собственную свою опору, и твердое превращалось в летучее, видимое – в невидимое, и черными каплями скользило серебро, источаясь в огненные уголья. Иноплеменные дружинники, думая, что их князь приносит особую жертву, мысленно молились своим святыням. Немногочисленные русские шептали заклинания, так как в Тмутаракани больше, чем где бы то ни было на Руси, жило разных древних обычаев.

Никто не знал, чьи тени являлись Мстиславу, никто не знал, что сожигается. Пепел костра напомнил князю о Цимисхии. На четыре года этот базилевс пережил Святослава. Богатырь и удачливый полководец, Цимисхий, воюя в Азии, выражал недовольство евнухом Василием, которому доверил управление на время отсутствия. И собственный лекарь Цимисхия угостил своего господина тайным зельем. Оно, не имея вкуса и запаха, убивает верно, но медленно: не угадаешь, когда тебя отравили.

Мстислав знал, что греки боятся его, как бы не отнял он Таврию, и был осторожен с дарами таврийцев. Он не собирался ни завоевывать греков, ни мстить им. Не за что мстить-то, по совести. А дела его на Руси.

Кострище засыпали, по обычаю каждый старался нарастить новый курган. Хан Туген не делился понятной ему тайной совершенного Мстиславом обряда. По осени печенег послал своих окропить черную землю семенами степных трав, чтоб заросла она поскорее и успокоилась навечно голодная душа Святослава.

Достигнув русских пределов, Мстислав шел строго, за все щедро платил. Под Киевом городская старшина дала пир прибывшим и браталась со Мстиславовой дружиной. А в город не пустили. Ярослав был на севере, но киевляне оставались крепки верностью старшему сыну Владимира, и Мстислав ушел на левый берег. Черниговцы приняли с честью тмутараканского князя. Младший Владимиров сын был им люб, а Киев черниговцу не указ. Немногим уступая Киеву в древности, немногим Чернигов отстал и в обширности. Едва ли не день пришлось бы потратить пешеходу, чтоб, обойдя Чернигов, полюбоваться им со всех четырех сторон.

Мстислав не препятствовал выезду Ярославовых бояр, не тронул ничьего имени, обычаев ни в чем не нарушал и пришелся черниговцам по душе, как заказная рукавица на руку. Но со старшим братом никак не ладилось. Сколько ни пересылались послами, Ярослав твердил свое:



тебе Муром, а из Чернигова уходи. Пока ты в Чернигове, любви между нами не быть. А раз нет любви, то быть войне, а там – как Бог решит. Лето пошло на осень, осень на зиму. Ярослав, сидя в Новгороде, без спеха нанимал варягов, чтоб воевать с братом, а Мстислав удержал при себе дружинников-инородцев. Русские же земли жили своими заботами, не было нигде ни волнения, ни шума, ни какой-либо смуты. Русь оставляла князей спорить между собой своими же силами. На левобережье распоряжались Мстиславовы посадники, на правобережье – Ярославовы. Дела, большие и малые, шли своим порядком: киевляне по делам ездили в Чернигов, черниговцы – в Киев по своей полной воле и между собою не ссорились.

Минул зимний солнцеворот, холода покрепчали и сбавили. День naros, вот уж и с гор потоки прошли, а там и отсеялись люди. Ярослав с наемной дружиной пошел речной дорогой на юг и в начале лета высадился у слияния Сож-реки с Днестром. Мстислав вышел из Чернигова на божий суд с братом: кто кого одолеет, того и правда будет. Так задолго до этого столкновения решались подобные споры на всем Западе, до берегов Океана, и долго еще предстояло подобное.

Сошлись под крепким городом Лиственном. В разноплеменной дружине Мстислава братались яс и касог с хозарами, с беглым ромеем, с печенегом, с аланом, с абсагом. Было с ним небольшое число своих северских молодцов, охочих до драки. Такое же примерно число новгородских бобылей пополнило варяжскую дружину Ярослава. Русская земля встала стороной, не вмешиваясь, не помогая и не препятствуя, – пусть Бог их судит.

Не дожидаясь дневного света, Мстислав послал своих на спор – у правды глаза зоркие, она и в темноте видит. Северских охотников Мстислав поставил в середине. Почувяв, что они связали пеших варягов, главную силу Ярослава, Мстислав повел тмутараканскую дружину и сдал варягов с боков. При свете молний разыгравшейся грозы был совершен быстрый разгром Ярослава. Бежавших не преследовали.

Наутро Мстислав, объезжая поле, заметил:

– Вот варяг лежит, а вот – северянин, своя же дружина цела.

Летописцы записали слова; впоследствии книжники долго попрекали ими Мстислава, узрев пренебрежение к русской крови. Если б книжники сами воевали не за столами, а в поле, то поняли бы проще, как было: даже в малом бою, как под Лиственном, полководец сбережет для решения битвы сильнейшую часть войска. А этой частью у Мстислава и была избранная из лучших конная дружина. Но почему Мстислав не преследовал побежденных? О том книжники и не подумали.

Ярослав вернулся к устью Сожа, дождался своих беглецов из-под Листвена, погрузился на лоды и отправился в Новгород. Спор решился, и Ярослав не сделал и малой попытки остаться на юге.

Мстислав со спокойной совестью мог устраиваться в Чернигове навсегда. Он, зная Степь, стал заботиться о восточных и южных рубежах Руси. Брату Ярославу он предложил вечный мир на тех же условиях: тебе – правый берег Днестра, мне – левый. Ярослав не мирился, выжидал, Русь же жила, как жила. Ни один из путей не был прерван, никому не чинили препятствий на дорогах, нигде не было стражи, которая приказывала: не ходите туда, там земля Ярослава либо Мстислава...

Следующим летом князь Ярослав приплыл прямо в Киев, ведя сильное ополчение из новгородцев. Киевляне радостно встретили любимого ими князя. Войны же не получилось. Новгородцы пошли с Ярославом для чести его, чтоб не стоять ему перед братом голым, брошенным. Киевлянам тоже не было за что класть головы. Много собралось бойцов, много оружия сверкало над Днестром, но ни одна стрела не полетела, и ни одного панциря не звякнуло под мечом. Вняв уговорам своих, князь Ярослав переправился на левый берег Днестра и встретился со Мстиславом в Городце, что против Киева. Мир был заключен на том, с чего начал Мстислав. Младшему брату досталось левобережье, старшему – правый берег.

Вскоре братья вместе пошли на ляхов. Русские червенские города, захваченные ляхами при Святополке Окаянном, вернулись к Руси. Литовцы, досаждавшие Смоленской земле, были побиты и оттеснены. Князья вернулись с большим числом захваченных пленных. Поделив живую добычу, они сажали их в своих уделах, заботясь о благе их во всем, чтоб стали они русскими. Как дальновидные правители, о новых своих они печаловались больше, чем о коренных.

Печенеги, опасаясь Мстислава, сидели в Степи смирно, удерживая свою вольницу от набегов и от нападений на водных и сухих путях в Тмутаракань и Таврию.

Будто бы все Бог дал Мстиславу – удачу, разум, телесную силу с красотой, храбрость и щедрую душу. Замечали люди – молод еще князь, а становится хмур. Болеет? Нет, здоров и силен. Гадали – даровал Мстиславу Бог высшую радость: жену прекрасную и добрую, но детьми не пожаловал – давал и брал во младенчестве. Только один сын, Евстахий, прошел через опасный возраст, но и тот умер в раннем отрочестве. Говорили люди: ужель род Мстислава окончится? И вспоминали притчи-сказания о неполноте земного счастья, которое никогда и никому еще не бывало дано без изъяна. Может быть, о том думали и князь с княгиней?

Старшие о младших так говорят: им расти, а нам стариться. Детям подобает, оплакав родителей, чтить могилы, но горя не длить. Что случилось бы с человеческим родом, когда смерть старших лишала бы младших желания жить! Благое забвение тупит скорбь сына и дочери. Иное бывает с родителями. Княгиня Мария, смиряя горе молитвой и надеждой найти на небе своих маленьких, удалялась все больше от мирского. Князь Мстислав, добровольный и строгий вдовец при живой жене, стал любителем книг и мудрых бесед, чередуя раздумья с охотой. Замечали люди, что он зачастую отпускал зверя, что предпочитает он тишину черниговских лесов страстной погоне и любимому прежде единоборству с медведем.

На охоте Мстислав заболел огненной лихорадкой и покорно скончался под небом, завещав коснеющим языком:

– Слушайте брата Ярослава, он Русь любит более меня.

Черниговский епископ начал погребальное слово:

– Почему так случилось с тобою, Мстислав? Будто бы некто, отправившись полный силы в путь дальний, сказал, не пройдя половины пути: нет, не хочу я больше идти... – Тут, прервав свою речь, владыка закончил: – Умер князь наш, давайте же плакать.

И сам плакал, и плакали люди, и вспомнили люди потом, как слезы лил и сам Ярослав – впервые.

Приняв выморочное наследство, князь Ярослав оставил в левобережных городах братниных посадников, а дружину Мстиславову взял к себе, ибо не было вражды и соперничества между боярами обоих князей.

Печенеги, со смиренной опаской взиравшие на Мстислава, решили, что настал их час, и в следующем, 1036 году пошли на Киев. Ярослав побил Степь в поле. Без задержки и без усталости Русь преследовала степняков долго, настойчиво. Тем и завершился последний прилив печенегов. Прежде уже надломленный в сражении при Альте, печенежский хребет был окончательно сломан. О печенегах забыли.

Русь подавалась на север, на восток, в малолюдные, пустые леса, разыскивая себе волю, которой, сколько ни дай, все мало. Сталкивались с иноязычными, дрались, мирились, менялись, овладевали. Иноязычных было немного, слабые, разрозненные между собой, из них многие не знали самого простого – железа и хлеба. Зато в реках водилась рыба, будто в садках, зато дикая птица казалась непуганой, дикий зверь удивлялся двуногому гостю, и повсюду ловились пушные зверьки.

На Волге, при устье реки Которосли, князь Ярослав поставил новый город и дал ему свое русское имя. В другом краю, на северо-запад от Пскова, превратил невидное поселенье в крепость, которой дал свое крещеное имя: Юрьев – от Юрия.

Редкий правитель хочет зла людям, но редкий умеет делать добро. Так говорили ближние наблюдатели, которые невольно принимают дело за слово, слово – за дело. Кто подальше, тот об одном просит Бога – чтобы ему не мешали.

Говорили, что князь Ярослав строил храмы, будто бы мог он что-то построить без общей воли, и не одних киевлян, но и других русских.

Отесанные камни кажутся одинаковыми. Нет, с каждым ударом меняются усилие руки и сопротивление камня. Прекрасно только разнообразие. Киев строил храмы как хотел, удивляясь и радуясь. Князь Ярослав не построил для себя крепкого замка, чтобы в нем засесть со своими. Строили храмы – для всех.

Надуваясь изнутри, Киев лился за стены. Земля дорожала, особенно в городе. Наследники, владельцы обширных усадеб с просторными дворами, с садами, с огородами между плодовых деревьев, уступали новоприезжим кусок-другой земли за хорошие деньги. Не жаль. Через год, через два кляли поспешность: выждав, взяли бы вдвое.

С Сожа, с Припяти, с Десны, с верхнего Днепра плыли бревна и доски, готовые срубы домов. Сами расшивы были собраны кое-как, только доплыть, и тут же продавались для поделок, на дрова. Все покупалось.

Друзей князя Ярослава, новгородских плотников, киевляне встречали внизу, у пристаней, на ходу подряжая приезжих. Собрать дом просто. Никто не хотел простоты. Хотели, чтобы легло дерево к дереву, чтобы окна глядели как очи, не щурясь, чтобы дверь – так уж дверь. На крышах коньки, петухи, звери, которых никто не видал, но живые. Хозяйка голову кое-как не повяжет, оконный наличник – повязка. Резные надворотные крыши, крылечные балясы, калитки.

Не от тесноты – для красоты ставили два яруса, в третьем – светелка. Печи лицевали обливным кирпичом. В домовом строении камень выталкивал дерево. Равнялись по храмам.

Кроме городской земли и мастерства, все дешеVELO. Отовсюду, веря бездонному киевскому чреву, везли всякий товар, от зерна и муки, говядины, дичины, солений, копчений, моченый, кож, мехов до пушнины, до щепного товара ценных древесных пород, до женских безделушек, украшений, забав, до детских игрушек.

Все покупали всё. Цены сбивались, но никто не страдал: рос оборот; получая меньше, каждый больше изготавливал, больше сбывал – отсюда прибыли.

Золото и серебро притекало, растекалось, вновь собиралось. Русская гривна сверкала вместе с монетой всех стран. Простодушному или чрезмерно умному могло показаться, что Киев лежит в середине земли, как гвоздь, зацепив за который петлю шнура строитель очерчивает круг.

На севере конец киевского шнура ловили шведы, норвежцы. Шведский король Улав, или Олоф, отдал Ярославу свою дочь Ингигерду. Королевна принесла в приданое Корелию, и родственники ее верно служили Ярославу посадниками в северных городах. Другого короля, норвежского, тоже Улава – Олофа, Ярослав кормил в Киеве, когда норвежцу пришлось бежать от своих. Он с необдуманной поспешностью принуждал креститься людей, думая, что они его подданные, они же оказались своими собственными. Сын его, будущий норвежский король Магнус, воспитывался добрым правилам на дворе князя Ярослава.

От ляхов князь Ярослав вернул сторицей потерянное ранее Русью. В Польше был беспорядок, на благо соседям. Успокоилась Польша. Новый король породнился с Ярославом, отдав свою сестру в жены Ярославову сыну Изяславу, а сам просил себе в жены сестру Ярослава Доброго – Марию и отдал за нее последних русских пленников, увезенных королем Болеславом по попущению Окаянного Святополка. Гаральд, дядя норвежского королевича Магнуса, долго жаловался стихами на холодность русской красавицы Елизаветы, дочери Ярослава, пока не склонил ее сердце рассказами об удивительных своих похождениях. Скрыв свое звание, Гаральд служил базилевсам, водил полки по Европе и Азии, воевал с арабами и турками на

теплых морях. Звенели мечи и ломались копья в его рассказах. Через много лет, став норвежским королем, старый уже, Гаральд был убит в попытке захватить Англию.

Король венгров Андрей добился руки Анастасии, дочери Ярослава. Генрих Первый, французский, – Анны. Этот брак делал честь французам, королю только по имени, зажатому между вассалами более сильными, чем король.

За обиды, причиненные русским купцам, князь Ярослав послал морем сына наказывать Восточную империю. Бури помогли грекам: русские разбили их на море, но на обратном пути много русских кораблей было выброшено на греческий берег. В залог мира базилевс Константин Девятый Мономах предложил Ярославу породниться. Сыну Всеволоду была дана дочь Мономаха, светловолосая, сероглазая, белокожая. Тогда греки еще не испытали турецкой пяты.

Так жила Русь при князе Ярославе с севером, западом, югом, со странами, хорошо известными. Восток был как открытая дверь в неизвестное.

Ярослав насыпал валы, защищаясь с востока. Продолжая недавний труд отца и давних князей, он заботился о крепких стенах городов. Знал, что сами крепости не спасут, как не спасают они греков. Но крепостями он шел на восток, селил пленных на восточных дорогах. Осаживал на границе берендеев, торков, печенегов и прочих, названья которых переводились по смыслу: потерявшие дорогу, сбившиеся с пути. Никто не приходил с востока с единством обычая и речи, нашествие рассыпалось пестроплеменными осколками.

И будто бы делал, и будто бы трудился князь Ярослав, пока не понял: не трудился, не делал, а жил как умел, старался – и только.

Пониманье обозначило приход усталой старости. Тогда старый князь поспорил с летописцами, внушая им – не я делал. Не убедил. Книжники писали, как им легче было писать. Подражали ли они старым писаниям, не могли ли иначе, но сколачивали события, как тележник собирает колесо, и сажали собранное на чье-то имя, как сажают колесо на ось.

Что спорить, только устаешь от споров. Ярослав устал, сон не давал силы. Больше он не ездил верхом, забылась охота. Жалели его. Он знал, но не искал сожалений, давно он вырос из тех, кого можно и нужно жалеть.

Помнил разговор двух стариков, услышанный в юности.

«О смерти-то думаешь?» – один спросил.

«Нет, – ответил другой. – А ты думаешь?»

«Думаю...»

«И что же?»

«Страшно».

Много, ох много забылось, а такое запомнилось. Сам Ярослав часто смерти боялся. Сосчитай! Не сосчитать, памяти не хватает.

Закончив беседы с книжниками, которых он не убедил, Ярослав перестал бояться смерти.

Есть время сеять, есть время убирать жатву; есть время жить, есть время умирать. Так писал человек из-за великой любви к жизни, часто думавший о смерти, ибо был он от смерти далек, и боялся ее, и баюкал свой страх. Человек не семя, а жизнь не жатва, из дел человека получается иное, чем он замышлял, и пусть тебя осуждают, и пусть тебя украшают делами, совершившимися при тебе будто бы по твоей воле, что тебе!

Почти всю жизнь князь Ярослав хромал, не замечая хромоты. Ныне ему не хотелось ходить, мешала хромота – пусть мешает.

Надоело говорить, распоряжаться, все он делал через силу, и привык, и делал через силу, про себя усмехаясь: надолго ль тебе будет нужна привычка? Не боялся он умирать, и в этом была его радость, нет, какая же радость, проще и лучше – покой.

Ему говорил посол императора Германской империи:

– Твое величество совершило единственное в мире и неподражаемое дело. Все в Европе собирали законы былой Римской империи и клали их в основу своих законов. Ты собрал

законы твоего народа, не внес и слова чужих законов, поэтому твои законы легче исполнять, чем наши.

Плохая жизнь, когда правда есть лучшая лесть. Германский посол заботился, чтобы Русь не усилила своими союзами чехов и ляхов, и льстил правдой русскому князю.

Стало быть, кто назвал поле – полем, реку – рекой, гору – горой, тот совершил великое дело? В русском законе – в Русской Правде собрана еще раз правда русских обычаев. И это неподражаемо? Германцы мастера на выдумки, Ярослав читал их законы: древнее слито с новым, недавнее со старым сплетено. Но – прочно все, проткнуто шильями, сшито, как драгвой.

Старый князь смотрел на германского епископа, посла императора. Хватит Ярославу и греческих епископов. Своих нужно ставить, только своих, спасибо послу. Завещал бы это старый князь, будь он еще далек от смерти. Но был близок и знал тщету завещаний.

«Все они почувствуют себя вольными, когда я умру совсем, – думал Ярослав, – такими же вольными, как дерево, которое считает, что само шелестит листьями, а не ветер».

Тогда-то он и полюбил поздней любовью своего брата Мстислава, который, будучи младшим, умер задолго до старшего, хоть и был богатырь. Было время, вскоре после смерти Мстислава, когда возник раздор с греками. Ярослав подумал: хорошо, что нет уже брата. Ярославов посадник, сидя в Тмутаракани, издали поугивал греков, но умеренно. Обмен и торговля не прерывались. Русь не страдала от разрыва с империей, таврийские греки от страха не смели наживаться против обычного. Мстислав же, думал тогда Ярослав, взял бы себе всю Таврию, а она не нужна. Жаль брата, пришел бы он в Киев, принял великое княжение. Ныне же – кому отдать?

Хотел бы – никому. Нельзя так. Может быть, Всеволоду? Не будут его слушаться. Заранее князь Ярослав рассадил сыновей по старшинству, переделывать не будет. Иначе начнут ссориться, будут толкаться своими дружинами. Надоедят людям, люди их прогонят, земли останутся разделенными, начнут собираться, пока не установят старый порядок: старший наследует старшему, по обычаю, свобода бывает только в обычае, а без свободы нет и жизни, погибнет Русь, изотрут ее, ибо она без свободы истлеет изнутри.

Ярослав не приказал старшему своему Изяславу быть после отца единым князем Руси, хотя мог при себе приказать, мог, собрав всех сыновей, обязать по смерти его взять Изяслава как отца и связать их клятвами. Знал он соблазны и не хотел обречь сыновей на клятвопреступление.

Заранее, еще не познав ощущения смерти, князь Ярослав утвердил Изяслава в Киеве, Святослава – в Чернигове, Всеволода в Переяславле, Вячеслава – в Смоленске, Игоря – во Владимире-на-Волыни. Сделал так, чтобы все они закрывали Русь с востока и юга от Степи. Новгород будет за Киевом, Тмутаракань и земли к востоку от Днепра – за Черниговом, Ростовская земля, Белоозеро и Приволжье – за Переяславлем. Уходя, изменять не хотел.

Митрополит упрекал старого князя:

– Нет силы в разделении. Установи закон о наследии Руси по примеру других государств. Быть кесарем-царем старшему сыну, когда государь умирает, не оставив распоряжения. Либо другому сыну, избранному отцом по закону. Либо постороннего рода человеку, коего государь укажет, усыновит, получа благословение Церкви. Не дели Русь. Не будет единогласия между твоими сыновьями, хотя и повелел им слушаться старшего и в очередь старшинства занимать киевский старший стол.

– Не будет, – согласился Ярослав. – Единогласие бывает лишь на кладбищах между могильными камнями: не спорят они. Сыновья же мои живы, но Русь я не делю. Как научить сыновей, чтобы Русь их держалась, не знаю. Не знаешь и ты.

Замолчал, вспоминая, сколько раз сидел в лодьях, которые гребцы из всей мочи гнали вверх по Днепру. Всегда спасался в добрый к нему Новгород. И дивился терпенью людей, что не бросают его, неудачливого. Будто любимая игрушка он. Не двумя тысячами гривен снятой подати купил же он их!..

Последние слова, видно, вслух произнес, так как митрополит переспросил:

– О чем ты? Не понял я...

– Да все о том, все о том, – ответил Ярослав. – Жесткие вы, духовные власти, на догме стоите. От жесткости до жестокости – звук один, буква малая. Писец, не углядев, лишнюю букву напишет либо упустит. А мысль, а смысл! Вам бы все законы писать, приказывать, требовать. Ваше ли дело? Ваше дело учить, объяснять, добром убеждать, не законом.

– Церковь велит учить, убеждать. Она же велит приказывать и наказывать.

– Какая Церковь? Христова?

– Да, Христова, – утвердил митрополит.

– Нет, – возразил Ярослав, – власть духовно-светская, в греческой империи слитная. Не Христова церковь столько гнала, истребляла. Из-за этого так долго русские от вашей Церкви отворачивались. Веру мы взяли через вас, а законов не взяли. Таинство благодати при посвящении в сан взяли мы, а обычаи греков не взяли.

Митрополит сокрушенно закивал головой в черной скуфье.

– Так и патриарх в Царьграде кивал, когда я, собравши епископов, просил избрать блюстителем русской митрополии достойного из них, они же избрали русского, Илариона. Русь есть часть православной Церкви. Законы на Руси русские, русскими будут. А ты проповедуй, учи доброму в духе. Препятствуют тебе? Нет.

– Восточная империя была и будет во веки единственным и величайшим примером, кладезем мудрости всем государям. Как в лучшем, чему надлежит подражать, так и в плохом – во избежание, – отозвался митрополит. – Ты, кесарь-царь, по себе установи единодержавие, на благо. Держа при себе советников, государь должен один управлять.

Вздыхнул князь Ярослав, пришла его очередь покивать головой. Вспомнилась драгоценная Псалтырь, богато расцвеченная живописцами, подарок базилевса Константина Мономаха. Базилевс Василий, прозванный Болгаробойцем, на рисунке стоял в доспехах, с острым копьем, опираясь на меч. Над кровожадным правителем изобразили Христа, по бокам – херувимов, а внизу – подданных: фигурки крохотные, ползут на четвереньках, как щенки. Кругом головы базилевса сияние, как на иконах. С благим намереньем творили живописцы, молитвенно трудились, а что изобразили? Кошунство над Христом, над святыми, над верой! Не видят греки, собой ослеплены. Еще в Ветхом Завете было сказано, что Бог не дал Давиду построить храм, ибо Давид много крови пролил... Не захотелось напомнить. Молодые больше уверены в себе, чем старики, ибо молодость, не имея опыта, решает от разума. «Но что разум без опыта?» – в мыслях сам с собой обсуждал Ярослав, и, сидя рядом со смертью, был еще жив, еще в памяти, и продолжал свою речь. То была исповедь, чего не понял жесткий митрополит, но князь не нуждался в сочувствии.

– Видал ли ты, отец, как золотильщик, построив легкие подмости, лазает по куполу, будто муха? – спросил Ярослав. – Что до золотильщика и храму, и куполу! Ничего он для них, они и без золота простоят. Не так ли и мы, князья? Лазаем поверху, видно нас, и кажется, что в нас все заключено. А купол дрогнет и золотильщика сбросит. Земля нас терпит по вековому обычаю, ибо привыкла иметь в князьях нужду. Не во мне суть, не в Ярославе. Но что я могу защитить и от кого, от чего. Меня ли Новгород не прощал, меня ли не защищал! Пришел Мстислав требовать доли в отцовском наследье. Собирался я против него – Новгород и не глядел на меня. Иди, пусть вам с братом будет; Божий суд. Я шел под Листвен с наемными варягами. Сколько-то было со мной русских, новгородских, из бобылей, охочих подраться. Но из домовитых ни один не бросил семью, чтобы мне помогать. У Мстислава была дружина из

нерусских, да русские такие же, как у меня, кто на драку бежит, едва позовут. Им и досталось, пока Мстислав не сбил своей дружиной моих варягов. Прибежал в Новгород, новгородцы меня утешили: не робей, поможем. Зимой я пересылался со Мстиславом, а летом новгородцы спустились со мной в Киев большим войском. Зачем? Чтобы мне стыдно не было. Они тоже пересылались со Мстиславом, а мне сказали: будем вас добром мирить. Добрый он был князь, и брат добрый. В ссоре я был повинен, не он.

– Ты прощаешь брата как христианин, – одобрил митрополит и предложил: – Написал бы ты через писцов наставление сыновьям, как мне рассказывал о себе. Они бы вынесли себе поучение, как править.

– Знают они, что добро, что зло, – тихо начал Ярослав, – различают черное от белого, от красного... – и не закончил. Губы шевельнулись, желанья не стало. Не нужно. Митрополит упрям. Не понимает, что другие упрямые не менее. Каждый держится за привычное. Пока время не переменит людей, положение их, достатки и все, от чего у человека мысли, желанья...

Дешевый спор – о словах. Духовные больше других грешат словесными спорами из книг, такое их дело. Плотник рубит топором, книжник языком пилит душу. Читал Ярослав духовные и светские книги. Чтение дает знания, но ума никому не прибавит, коль его мало. Вот ученый человек митрополит, а пустяка не поймет: за то Ярослав брата Мстислава при жизни его не любил, что был перед ним виноват. В сторону говорит духовный отец, на ветер...

Слова и дела, дела и слова. Уже не различал князь Ярослав разницы между ними, ибо мысли его чудесно воплощались в видения дела. Он уже встал на порог. Ноги как ледяные. Или кажется? Не хочется пошевелиться, чтоб посмотреть рукой, язык не хочет сказать. Взять легко, любить трудно – терпения много нужно для любви. Не стало у старого князя больше любви ни к чему, остыл он совсем, остались бесполезные знания себя и людей. Хорошо и легко, и пора...

И глазами позвав митрополита, шепнул коснеющим языком:

– Ухожу. Читай отходную...

Книжник заранее знает, что кому делать, зачем делать. Потом обвинит – не так делали, будто бы можно сделать жизнь из заранее сказанных слов?

Духовные указывали и осуждали. Но не было образца, на который указывали, не было единой, благодетельной, самодержавной Империи. Не бывало и людей, кто поступал бы по писаному, даже когда сам творил писания к общему примеру. Из действительно сущего – из Империи, из людей – с помощью слов творили истинных ангелов: голова, крылья, руки, грудь, а прочего нет, прочее отсекается как ненужное.

На них указывали, во имя их осуждали. Русь же, молясь по-новому, жила старым обычаем. Думала, что живет, и жила свободно, платя цену, называемую усобицами, беспорядком. В свободе трудно держаться порядка.

Как только не определяли человека, в отличие от других живых существ! И двуногое без перьев, и общественное животное, и разумнейшее во всем мире существо среди других... Кем бы ни назвать человека, есть у него одно поистине дивное чувство: уметь видеть то, чего нет, и не видеть того, что есть.

Расписывая стенной живописью киевский храм Софии Премудрости, живописец Алимпий, известный мастер, разговаривал с Никифором, начинающим мастером, недавним своим учеником.

– Ты, Никифор, тайну ищешь в живописи, – говорил Алимпий. – Подумай: собака, лошадь, кошка как ни умны, но не видят ни нарисованного, ни изваянного. Глаз же у них куда зорче, острее людского. А человек видит. У человека глаз добавляет свое к нарисованному. Вот тебе и вся тайна. Мы ко всему прибавляем свое и говорим: знаем истину. Однако же каждый знает истину, но – свою.

– Не богохульство ли? – робко спросил Никифор. – Этак можно дойти до отрицания веры.

– Да я не о вере, о людях, – засмеялся Алимпий. – Лики Христа, Богоматери, святых пишут на иконах по-разному. Ты против этого не можешь спорить. Найди, вырази по-своему образ – вот и открыл тайну. Поверят тебе, в нарисованное тобой, люди – ты мастер.

– Я Бога силюсь видеть в духе, – сказал Никифор.

– Зри в духе, но пиши в красках земных, коль живописец. А еще ты должен всегда знать, где добро, где зло, иначе не будет в руке силы, – посвящал в тайну Алимпий младшего товарища.

– Зачем это, не пойму? Все знают, где добро.

– Нет, – возразил Алимпий. – И вот тебе пример: для князя добро, когда казну набил, а для людей добро, когда у них деньги, и нет им печали, что княжья казна пуста.

– Князю лучше судить.

– А другой говорит – мне лучше. Я, мол, хлеб рашу, ремесло у меня, деньги мои.

– Отдают же...

– Нельзя иначе, – сказал Алимпий. – А не захотят, не отдадут. Так где тут добро, а где зло?

– Как же мне быть-то? – потерялся Никифор.

– Живи в чистоте, – приказал Алимпий. – Взирая же на иконы древнего письма, молись, прося Бога о помощи. И проникай в образ. Христос, Бог наш, описан плотию, а божественностью не описан. И я, человек во плоти, молясь на иконы, не краскам молюсь, но сквозь целостность образа возношу свой дух ввысь. Здесь тайна. Посему не утруждай ум словами, но душу свою зажигай. Истинно тебе говорю: мысли, работая, что телесность есть лишь предлог...

По отцу и сыну честь. Никто не дивился на Русь, которую Ярослав будто бы раздал своим сыновьям. Не было раздачи. Все осталось на своем месте, ни одно вече не собралось, дабы обсудить разделение открывшегося наследства, – не было наследства. Не шевельнулись беспокойные новгородцы. Еще более беспокойные, но менее дружные киевляне не увидели повода для шума и жалоб. На княжьем дворе старший сын заменил отца. Обычай был за него, как привыкли от времени, когда род – большая семья – был и владельцем угодий, и собственным своим судьей.

Каждый мог по-прежнему заниматься своим делом так, как знал, умел и хотел. Митрополит – грек, с греческой мечтой о возможности на Руси единовластия, будто бы такое единовластие существовало в империи, – не обратился с речью о своей мечте ни к кому, разве что к какому-либо соотечественнику.

Добровольные вестовичики-глашатаи не судили о распоряжениях Ярослава, духовные отцы в храмовых проповедях не вмешивались в светские дела. Ярославова дружина поделилась своей волей между сыновьями, по старине дружинник сам себе голова.

Ярослав умер. События же не было: прах вернулся к праху.

Вскоре, в 1056 году, за отцом последовал Вячеслав Ярославич, который сидел в Смоленской земле. По общему совету между четырьмя князьями Ярославичами, младший из них, Игорь, перешел в Смоленск, а освобожденный им Владимир-на-Волыни был дан Ростиславу Владимировичу, сыну Владимира Ярославича.

Владимир Ярославич скончался при жизни отца. Он не занимал, как понятно, старшего киевского стола, и его дети по этой причине выпадали из обычной очереди наследования. К таким применяли название – изгой.

В русскую старину изгоями называли родовичей, которые почему-либо отрезались от рода. По своему ли желанью они уходили из рода, устраиваясь жить своей волей, за свой страх, или изгонялись за проступки, они одинаково уподоблялись птице, лишившейся пера и пуха: гоить – значит ощипывать птицу.



Изгоями называли людей, честь которым не шла по отцу. Изгоем оказывался холоп, получивший вольную, до времени, пока не устроит себе нового быта. Неграмотный попов сын, не получивший священства, тоже изгой. Научись, дадут тебе сан, будешь как отец.

Изгойство пристало к князьям по мере естественного увеличения их рода. Князьям-изгоям приходилось довольствоваться милостью старших, равноправие сменялось подручничеством. Многие довольствовались положением дружинника, начиная с младшей дружины, но не всем такое приходилось по душе.

Посадив во Владимире Волынском Ростислава, князья-дядя будто бы поставили изгоя в один ряд с собой, и поступили они так не случайно.

Иногда говорят, что вышел сын ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца. Не в укор матери: людская порода изменчива, в том-то и дело. Всей статью Ростислав Владимирович пошел во Мстислава Красивого, брата своего деда Ярослава, того, кто княжил в Тмутаракани, а потом взял себе днепровское левобережье и умер без потомства.

Во Владимир к Ростиславу потянулись известные бояре-дружинники. Князь поглядывал на ляхов, ожидая случая людей посмотреть и себя показать. Смерть Игоря Ярославича в Смоленске изменила виды Ростислава. Он счел себя вправе быть перемещенным в Смоленскую землю, коль, по всей правде, дядя поставили его в один с собою ряд. Но был он оставлен во Владимире и понял, что положение его не имеет прочного будущего. Придет день, и дядя уведут его из Владимира, чтобы поставить там хотя бы старшего из сыновей Изяслава Киевского. «Кто ж я? – спросил себя Ростислав и ответил: – Подручник-изгой» – и оглянулся вместе со своими дружинниками на Тмутаракань.

Малый кусок русской земли, остров за Диким полем, который приторочили к Руси, как всадник торочит суму к передней луке седла, вошел после кончины Мстислава в Черниговское княжение. Святослав Ярославич Черниговский посадил своего сына Глеба держать в Тмутаракани золотое Сурожское горло.

Ростислав появился в Тмутаракани будто бы неожиданно. Благоразумный Глеб Святославич, до которого доходили слухи о пересылке между Ростиславом и коренными тмутараканцами, уступил без драки место своему двоюродному брату: у Глеба не было в Тмутаракани ни друзей, ни врагов, а у Ростислава нашлись благоприятели.

Глеб вернулся к отцу в Чернигов, и Святослав пустился сам выгонять племянника-самовольца. Дойди дело до боя – еще неизвестно, за кем осталось бы поле. Память о Святополке Окаянном была еще горяча. Ростислав был и умен, и благоразумен, чтобы опозорить себя усобицей и порвать связь с Русью. Такое Тмутаракань поставила ему в заслугу, а дружина воздала верностью.

Князь Ростислав ушел с дружиной к востоку, за кубанские камышовые заросли – плавни. Святослав застал в Тмутаракани тишь и мир. Чудно! Размахнулся, а бить некого. Говорил Святослав с тмутараканскими боярами. Те свое: мы в княжеские дела не входим, если нас князь не обижает, так мы по старине привыкли, а князь нам нужен для защиты, ибо мы богаты, на жирный кусок всяк рот разевает. С тем Святослав и ушел домой, оставив Глеба на княжьем дворе, будто бы ничего не случилось.

Ничего и дальше не случалось. Едва неделя минула – опять Ростислав в Тмутаракани. Говорили они с Глебом дружески, ели-пили вместе несколько дней, судили о княжеской жизни. Ростислав, будучи старше Глеба, побеждал младшего в спорах и проводил его с честью в Чернигов. Глеб ушел без злобы, тмутараканцы погордились сноровкой испечь пирог по своей воле, не ломая печь, а Ростислав – умением добратся до меда, не давая пчел по-медвежь.

Говорят же – дважды одного и того же не бывает. И Святослав Черниговский, которого тмутараканское дело прямо касалось, и старшие князья молчаливо признали за Ростиславом Тмутараканское княжение. Выждать нужно, предоставив решение времени. Излишней поспешностью дело испортишь, пусть же оно само себя разрешит. Для Руси была нужна Тмутаракань

сильная и спокойная, и с Тмутараканью, и через Тмутаракань шел сильный торг, на Руси много народу кормилось Тмутараканью. Свою семью Ростислав оставил во Владимире-на-Волыни. Обижать ее было не за что. Да и не следовало. Княжение осталось за Ростиславом.

По сурожским степям прошел слух: в Тмутаракани воскрес князь Мстислав Красивый, Мстислав-богатырь. Отозвалось на горах. Ростислав ходил по Кубани, по Тереку, до Каспийского моря. С малой кровью князь наложил старую дань на касогов. Ростислав ходил повсюду, знакомясь с землей, в горных долинах он останавливался не перед людьми, а перед кручами, недоступными для коня.

На песнь красавицы тянет горячую юность бурное, но краткое кипенье молодой крови. К Ростиславу, как к Мстиславу, потянулись витязи разных племен, но одинаково способных к долгому накалу иной страсти. В Тмутаракани что-то готовилось, бродили новые силы, открывался простор для широких замыслов.

Воинственный будто бы князь и в книгах был начитан, и в жизни ласкался к людям, которых Восточная империя называла пребывающими у Бога: к земледельцам, к ремесленникам, к рыбакам. Тмутаракань была еще островом, но у нее было все свое: хлеб, скотина, соль, рыба, железная руда. Не было меди, золота, серебра, но достояния Тмутаракани хватало, чтобы добыть их столько, сколько захочет. Или – схватить левой рукой, держа в правой железо. Князь Ростислав и дружина глядели на восток и на свой близкий север, в Дикое поле. А греки глядели на Ростислава с запада.

В сотне верст на запад от Корчева, в узком месте Таврии, лежал невидимый пояс тмутараканской границы: по кое-как приметным холмам, по сухим долинкам, прорытым когда-то речками, что ли. Здесь нет ни рек, ни ручьев, ни ключей. Найти колодезем сладкую воду – редкая удача. Чаше всего вода горьковата, но можно привыкнуть. Тут хозяева боятся обидеть прохожего. Было же: от горького проклятия обиженного посолонел колодезь и пришлось бросить именье. Жалел хозяин: хлеб родился хорошо.

Дальше – греческая Таврия. В ней, как в столице Восточной империи, население разноязычно, многокровоно. Действует старая, греко-римско-византийская ухватка. Нет былой силы, осталось искусство. Старый певец и без голоса чарует умением передать смысл песни – престарелый борец валит соперника ловким приемом, обращая против него его же силу. Так имперские служащие не выпускали Таврию из своих хилых рук. Здесь империя обвивала подданных не беспощадным удавом, а лукавым плющом, который издали кажется милым, а юным поэтам является образом верности. Власть бывает обязана уметь допускать иное, соблюдая приличия. Как старый муж закрывает глаза на шашни молодки-жены. Побесившись, вернется к утру, печь истопит, все изготовит. Где же была? Подруга-де заболела. Кто кого обманул? Пусть смеются соседи!

Говорят, будто Власть имеет высокие задачи: правосудие, благосостояние подданных, сношения с другими государствами, оборона и прочее. Главное главного – собрать деньги подданных, истинный герой тот, кто выдумает новый доход в дополнение к прежним.

В городах греческой Таврии стояли гарнизоны из наемных солдат, и жителям не возбранялось иметь оружие. Войска было недостаточно для наступательных войн, но должно было хватить для обороны с помощью жителей. Несчастье сплачивает, и, вопреки мненьям толпы, в годы войн власти легче держаться. В мирные годы власти империи в Таврии население помогало иным способом – своей разобщенностью. Иудеи не ладили с хозарами, считая, что хозары искажают закон Моисея: еретик хуже язычника. Потомки готов свысока глядели на всех, кто не гот. Роды угров, торков, печенегов в степной части Таврии владели обособленными летними кочевьями и зимовьями на холодное время года.

По южным склонам гор, в горных долинах и в защищенном стенами юго-западном углу властвовал греческий язык, здесь прочно сидели греки и отреченные земледельцы – садоводы,

виноградари – и ремесленники. Производимое ими, а не имперские солдаты держало за империю степную Таврию. В портах Бухты Символов<sup>2</sup> и в глубоких бухтах севернее ее находились обширнейшие склады, пристани – собственность составлявших сообщества сотен купцов. Отсюда производилась торговля с Русью и со всем побережьем Русского моря.

Греческая Таврия походила на человека, стоящего на берегу моря. Толкните – и он сделает два-три шага, чтоб удержаться на ногах. Лишний шаг – и он упадет в воду. Он здоров, полон сил, но жизнь его зависит от силы толчка.

Узкая засушливая степь Таврии не привлекла к себе главные силы гуннских, угрских, печенежских, болгарских конных толп. Поэтому с ними даже дружили дружбой, основанной на подарках, на неразорительной дани, главное – торговлей, обменом обычного для кочевников на невиданное имя. Таврии был бы опасен оседлый сосед, не завоеватель, а присоединитель.

Мстислава Красивого греки любили, холили. Восхищались удалью, умом, дальновидностью. Дарили князю оружие, княгине – красивые вещи, ароматы, притирания. Узнав, что русский князь строит храм в память победы над касогами, правитель Таврии без намека от Мстислава прислал резчиков по камню – умельцев тесать и полировать мрамор – и сам мрамор, а также живописцев. Княгине – златошвеек по шелку. Приезжали умные собеседники для застольных бесед. Привозили книги.

Да, любили греки Мстислава. На руках висли с поцелуями, на губах его – чуткими ушами. Вдруг охладели, а Мстислав и не заметил. Ему было не до греков. Он в Тмутаракани растил свою славу, думая не о Таврии, а о Руси. Проверив, перепроверив, греки убедились: этот для Таврии не страшен, нечего на него тратить.

Не рано ли отнята ласкающая рука? Слабые беспокойны и подозрительны. Правитель Таврии поздравил себя и начальника войск лишь после верной и не первой вести о том, что, взяв левобережье Днепра, князь Мстислав остается на Руси.

Мстиславовы посадники и посадники князя Ярослава, назначаемые для наряда людям и для порядка, не тревожили трепещущие души таврийских правителей. Побоявшись самих тмутараканцев, греки наблюдали, чтобы в постоянных торговых приездах никого из соседей не обидели. Стало страшно, когда империя задела князя Ярослава. Обошлось.

После смерти Ярослава вместо служилого посадника в Тмутаракань приехал князь Глеб Святославич. Пощупав, что за человек, греки решили, что молодой князь для них безопасен. Этот – как все. Любит посмотреть на морскую пену да послушать волну – тоже диво нашел! – тешит на море свою душу острой, на сухом пути охотится с коня. Глебу, по русскому обычаю, который на Руси заменяет закон, уготован прямой путь, по отцу. С Глебом были любезны: слова любви и подарки, как небогатому родственнику.

Очевидное не стареет и не надоедает: надоедают докучливые напоминатели, в чем называется греховность рода людского.

Правитель обязан предвидеть. Разве такое не очевидно! Тысячу лет в тысяче разных мест, не только в Таврии, изобретали способы предвиденья. К размышленьям о том, что может сделать такой-то мой сосед, если я не сделаю то-то или сделаю то-то, добавляли лазутчиков, ибо вызнать – тоже значит предвидеть. Дальнейшая специальность – лазутчик, и никакие другие.

Будущее старались вызнать наукой. Лучшие ученые занимались предсказаниями. Если следующим поколениям и казались смешными способы, применявшиеся предшествующими, то ни одно поколение не избежало пренебрежительной иронии последующего.

Нельзя обойти вниманьем ни соседей, ни подданных. Если войны не всегда были результатом ответа, который давало испытываемое будущее, то очень много тайных расправ и все казни за выдуманные вины были следствием предвиденья, осуществленного Властью.

<sup>2</sup> Ныне – Балаклава.

Первое появление князя Ростислава в Тмутаракани было для таврийских греков интересным происшествием. Есть о чем поговорить дома, на торгу, со знакомыми. Есть случай показать знание Руси и русских. Насильственное, но бескровное удаление князя Глеба увеличивало интерес к событию. Смена правителей – игра. Один так поставил войско, другой – так, первый пошел туда, второй – сюда. Переговоры. Подкупы.

Примеров было достаточно. А людей, рассуждающих о делах правителей, всегда больше, чем кажется, когда смотришь на толпу, дивясь общей тупости лиц: стадо баранов...

За успехом князя Ростислава последовала неудача его и – опять успех. Все время без крови. Такое придавало блюду вкус, тревожный своей странностью. Присутствуешь при споре на непонятном языке с непонятными жестами. Скифы... Скифами называли русских не только многие обыватели Восточной империи, но также историки, писатели.

Скифы сыграли добром в злую игру смены власти. Здесь что-то кроется.

Со времени ухода из Тмутаракани князя Мстислава Красивого прошло сорок лет<sup>3</sup>. Юноши, став стариками, нашли Ростислава похожим на Мстислава внешностью, воинской доблестью и доброй щедростью: щедрость правителя есть признак государственного ума или расчета.

За сорок лет сменилось несколько правителей Таврии. Каждый был обязан предвидеть по должности и в соответствии с правилами для правителей, созданными в Канцелярии Палатия.

Восточный ветер без устали тащил тучи во много слоев. Верхние устало тянулись, как караваны, выбившиеся из сил на многодневном пути. Нижние, грязно-седые, лохматые, спешили изо всей мочи, комкаясь, меняя очертания каждый миг. Они сливались, разрывались, падали ниже и ниже, не сокращая буйного бега.

Буря. В море есть нечто вещее: оно обладает даром предчувствовать бури. Море начало волноваться с вечера, узнав о замыслах черной гостии за половину суток до ее появления. Задолго до первых порывов ветра море стукнуло в берег, предупреждая: берегись! Бесспорно, ветер поднимает волны. Но что поднимает волны, когда ветер еще так далек? Предчувствие моря. Оно знает и само производит волны, тем самым вызывая ветер?

Подобными рассуждениями Наместник Таврии Поликарпос встретил гостя, явившегося к нему по долгу службы, и закончил так:

– Кажется, я невольно вернулся к известному софизму: что было раньше – яйцо или курица? Что скажет мне об этом уважаемый стратегос?

Собеседник Наместника Константин Склир не был облачен званием стратегоса. Таврия была слишком мала, все ее гарнизоны составляли немногим более полутора тысяч солдат. Не хватало даже на турму в пять тысяч. Склир носил звание комеса, или катепана, лишь потому, что таврийское войско составляло отдельную армию. Поликарпос величал Склира стратегосом из вежливости. По тонкости столичного обхождения было принято повышать звание собеседника даже на несколько ступеней. Провинция не хочет отставать от столицы.

Склир усмехнулся:

– Мне угодно полагать, превосходительнейший, что они существовали одновременно – и курица, и яйцо. Курица не могла появиться без яйца, яйцо не могло появиться без курицы, не так ли? Мы не соревнуемся в богословии, превосходительнейший, поэтому замкнем круг.

– Замкнем, превосходительнейший, – согласился Поликарпос.

По привычке сияя благодушной улыбкой, он легко дарил Склиру и титулование, на которое у комеса не было права.

---

<sup>3</sup> 1024–1064 годы. За сорок лет сменилось несколько правителей Таврии. Каждый был обязан предвидеть по должности и в соответствии с правилами для правителей, созданными в Канцелярии Палатия.

– Замкнем, замкнем, – повторил Поликарпос. – Скажу тебе, я в известном смысле хотел бы быть морем. Оно предвидит. А я, грешный? – Поликарпос сокрушенно ударил себя в грудь. И, по привычке изображая шута, похлопал себя по тугому животу.

Склир расхохотался. На его не слишком вежливый смех Поликарпос ответил взрывом хохота.

С таким небом, с таким морем империя казалась бесконечно удаленной от Таврии. Вчера в Херсонесский порт вошли корабли, одолев менее чем за три дня расстояние от столицы до колонии. Старший кормчий пересек Русское море, пользуясь устойчивым южным ветром. Буря, казалось, решила подождать.

– Успех сопутствует храбрым, – приветствовал моряков Поликарпос и осторожно оговорился: – Как утверждают поэты, не более.

Тоже предвиденье. Чье? Кормчего? Корабли были в открытом море, когда буря созрела в Колхиде. Гнездо восточного ветра, как знали таврийцы, находится в ядовитых колхидских болотах.

С кораблями прибыл посланный из Палатия маленький человек с большим приказом, содержание которого Поликарпос ощутил еще не читая: базилевс Константин Десятый сокращал расходы. Вторично за недолгий срок своего величественного правления. Так он начал, так будет продолжать. Действия базилевса были понятны Поликарпосу, ведь они с базилевсом были старыми знакомыми, если такое слово применимо к отношениям между низшим и высшим. Впрочем, рассказывал же один кентарх – с гордостью! – как главнокомандующий, старый приятель, однажды дал ему такую оплеуху, что каска с головы кентарха отлетела на пятнадцать шагов.

Так ли, иначе ли, но Константин из знатной семьи Дук шагал по вершинам палатийских канцелярий от высоких званий к высшим, когда Поликарпос лез снизу, как червь. Он сам был свой предок. Нужно сказать правду: Поликарпосу помогали гибкий ум, способность учиться, быстрая сообразительность, ловкое шутовство, искренность. Натянутый, напыщенный Константин Дука покровительственно ласкал круглые щеки способного исполнителя. Угадывать мысли начальства – что это, предвиденье? Если Поликарпос и дерзал предложить что-либо свое, то лишь для потехи начальника.

И вот он Наместник, Правитель Таврии. Разве такое плохо? Известно ли, что для умных людей быть шутом пред высшими есть способ возвышаться не рискуя? Нет, неизвестно.

Бог наградил Поликарпоса умом, цветущим здоровьем. И пятью детьми, чем Поликарпос оправдал значение своего имени – Многоплодный. Впрочем, десятки миль исписанных им пергаментов тоже плоды.

Чем пополняет Константин Десятый секретную летопись, изустный хронограф палатийских канцелярий? Есть мелочи быта базилевсов, которые не доходят до простых подданных, ибо разглашение их опасно, а содержание не будет понято: не поверят. По закоснелым мнениям подданных, великие – велики. Рассказывая им мелочи, приходится помнить правило: не говори кочевникам о горах, ты прослывешь лжецом на всю Степь.

Вот, например, Лев Исаврянин, Иконоборец. Сын селевкийского сапожника, он, начав служить в войске, поднимался к диадеме снизу, со дна людского моря. Друзья таких людей как листья, осыпаются наземь с ростом дерева. По какому-то случаю Лев, будучи уже базилевсом, вспомнил о некоем Дамиане, друге юности. Дамиана нашли в тюрьме; давно став священником, он подвергся каре за неповиновение указам об отмене икон. Его извлекли из тюрьмы и доставили в Палатий.

– Но почему же ты, иконопочитатель, в мирском платье, а не в рясе? – смеясь, спросил базилевс Лев.

– Величайший, я боялся разгневать тебя видом рясы, – объяснил Дамиан.

– Так, значит, ты боишься меня больше Бога, – заметил Лев и щедро наградил Дамиана, разрешив ему жить в столице и даже почитать иконы, но не соблазняя других.

Когда клеветники попытались оговорить Дамиана, Лев отверг их, говоря:

– Дамиан доказал свою преданность мне, вы же только клянетесь.

Или Василий Первый, Македонянин. Он в юности пахал землю вместе со своим отцом. Людей, встречавшихся ему на пути к трону, тоже можно уподобить листьям. Кто-то из таких, быв обвинен в заговоре, сумел напомнить о себе Василию, заверяя базилевса в своей невинности. Василий повелел:

– Пусть он признается, и тогда освободите его.

Заклоченному сообщили волю базилевса. Приняв слова судей за уловку, невинный упорствовал и умер под пытками. Базилевсу доложили, и он укоризненно сказал:

– Ай-ай! Какой же он был гордый!

Конечно, гордость принадлежит к числу смертных грехов, смирение же – не только добродетель, но и необходимость.

Поликарпос радовался возвышению Константина Дуки. Новый базилевс не станет менять Наместника Таврии, пока тот не провинится. Старые знакомые по Канцелярии сообщили Поликарпосу благоприятный отзыв о нем нового базилевса. Дружба с нужными палатийскими сановниками поддерживалась дарами, нет, подарками. Пока о Наместнике Таврии будут судить по его докладам, по поступлению налогов, Таврия будет за ним: уметь докладывать необходимо, к нему Поликарпос добавлял уметь справляться с наместническими обязанностями. Велик ли базилевс или ничтожен, пусть разбираются потомки. Современники обязаны слушаться, чтоб выжить, – иначе не будет потомков, вот как!

Указами, доставленными из Константинополя, Константин Десятый повелевал Таврии вдвое уменьшить расходы на поддержанье крепостных стен. Начав правление, базилевс уже уменьшал эти расходы, и тоже вдвое. Приказывалось также сократить численность войска на триста солдат. Взамен следовало обязать военной службой по первому вызову шестьсот обывателей из числа обладающих годовым доходом, равным поступлению дохода с сорока югеров пахотной земли, с чего бы такие доходы ни получались.

В подтверждение того, что требования не предъявляются вслепую, были приложены расчеты, извлеченные из налоговых реестров, посылаемых в Канцелярию Палатия канцелярией Наместника, о доходах с торговли, промыслов, ремесел, от виноградников, садов, пахоты, скота, от того и другого для обладателей смешанного имущества. Поликарпос замечал ошибки в расчетах, описки, неправильные итоги. Наместник Таврии живо представил себе Канцелярию, задыхнувшуюся под бременем работы, обрушенной на нее этим «базилевсом от Канцелярии». Такой отучит их спать! Что Таврия – меньше ногтя мизинца на теле империи, и то запутались. Они перетряхивают все! Сановники погружаются в думы, извлекая новые откровения – где сколько взять, сколько срезать. Все делается срочно и бесповоротно. Переутомленные писцы и счетчики совершают невероятные ошибки, зато все кипит, империя мчится к великому будущему на бумажных парусах. Да будут благословенны боги папируса, пергамента и туши!

– Вонючий козел! Святейшая каракатица! Обезьяна, гадающая на папирус! – изощрылся Констант Склир. – Как же тут отвечать за безопасность Таврии? Вместо стен, боевых машин, солдат – базилевс приказывает дружить с соседями, ибо мир дешевле войны. Вызывать замыслы соседей и вносить смуту в их ряды? Попробовал бы сам!

А Поликарпос, разыгравшись, представил в лицах Константина Канцелярского на троне. Таврийский Наместник обладал талантом мима, и образ Константина ему давался, хотя тот был высок ростом и сухощав, а добровольный мим короток и толст.

Мимические способности Поликарпоса когда-то ценились начальниками. Минута забавы между делом весьма освежает, когда передразнивают соперника.

Что же касается империи и базилевсов, то подданные, особенно из удостоенных близости к Власти, привыкли отделять себя и от империи, и от Власти. За раболепие платили по-рабски – насмешкой, издевкой, рассказами, входящими в изустный хронограф, подобно событиям с друзьями юности базилевсов Льва или Василия. Самозащита подавленной личности, самопомощь, которую не следовало осуждать.

Вдвоем, без третьего свидетеля, позволяли себе многое. За исключением такого, что можно проверить, когда собеседник донесет.

Поликарпос издевался, но об ошибках в указах он никому не скажет, это тайна между ним и Канцелярией, неприятная для Канцелярии, опасная для Наместника. Что же касается повиновения, то оно было обеспечено. Таков признак подлинной Власти: ей повинуются даже с ненавистью к ней. У Поликарпоса ненависти не было.

Комес Склир задыхался от злости. Для него Поликарпос был удачником, человеком великолепной карьеры. Сановник пятого ранга Поликарпос зависел от Канцелярии, действие которой постоянно. Сам Склир был поставлен Константином Девятым. Смерть этого базилевса оставила Склира беззащитным: произвол благословляют, когда он дает, и ненавидят, когда он бьет.

Константин Девятый был больше чем другом Склиров. Женой сердца этого базилевса была Склирена, с ней он въехал в Палатий, к ней вернулся из храма Софии после венчания с базилиссой Зоей, то есть с империей.

Его покровительством молодой Констант Склир из задних рядов этой семьи и из кентархов – сотников шагнул в комесы Таврии. Было от чего возгордиться. Прибыв в Херсонес, комес небрежно похлопал по круглому животу Наместника Таврии, своего начальника. В империи была табель о рангах и почитаниях, но империи не было без Божественного Произвола: в поддержке свыше. По словам умных людей, как Поликарпос, табель о рангах предвидит, но в ее предвиденье нужно уметь вносить поправки.

Менее всего Поликарпос мог оскорбиться дерзостью двадцатипятилетнего комеса. Через год, через два Склир шагнет дальше, храня добрую память о веселом, жирном и скромном Правителе Таврии. Но вместо полета на парусах, вздутых ветром высокого покровительства, корабль судьбы Склира сел на мель. Базилевсом стал Исаак Комнин. Этот, сам полководец, умел ценить военных, за Склира похлопочут. Заболев, Исаак вручил диадему Константину Дуке, и звезда удачи Константа Склира повисла над морем. Еще одна волна разобьет корабль о мель, и слабый огонек утонет совсем.

Сановник, лишенный поддержки свыше, чувствует себя как баран, если предположить, что баран знает свою судьбу быть постоянно стриженным и однажды зарезанным.

А буря над Таврией все крепчала. Волны били Херсонесский мыс, хотя ветер был с востока. Но ведь ветер не один, это стая. Даже тучи метались от вихрей. Как в свалке, когда удары падают со всех сторон.

Глубокие херсонесские бухты-заливы считаются лучшими в мире среди моряков. В любую бурю они безопасны, и рыбаки ловят рыбу. Недаром некогда мегарские греки построили стену в десятки миль длиной для защиты херсонесских бухт и большого куска земли вместе с отличнейшей Бухтой Символов. Последующие обладатели надстраивали стену с ее десятками башен. Она стала бы восьмым чудом света наряду с египетскими пирамидами, Колоссом Родосским и другими, не будь Херсонес на краю этого света в годы составления списка чудес.

– Хотя бы подновить стену...

– Зачем? – спросил Поликарпос.

– А русские? – ответил Склир вопросом.

– Ты гадаешь на Ростислава?! – сказал Поликарпос и прикусил язык: глупо подсказывать.

Что ж, пусть Склир выговорится, пусть тешится своим умом.

– Да, да, – подтвердил Склир. – Я убежден. Князь Ростислав хочет забрать себе всю Таврию. Мне рассказывали, он похож на Мстислава, которого здесь боялись. Мстислав ушел на Русь. Ростиславу туда нет дороги. Он не будет воевать со своими. У него, по русским законам, нет права на княжество. Русские из Таврии не пойдут за ним отвоевывать Киев. Но забрать нас – другое. Здешние русские будут с ним. Русский князь в Киеве будет только доволен.

– У нас мир с русскими, – заметил Поликарпос.

– Кто же соблюдает договоры, когда они перестают быть выгодными! Ты удивляешь меня, превосходительнейший!

– Ему невыгодно ссориться с империей. Империя пришлет флот и войско. Русские наживаются торговлей с нами, через нас. Вместо торговли Тмутаракань получит войну, долгую войну. Не могут же они победить империю! – не сдался Поликарпос.

– Не об этом я думаю, – с досадой сказал Склир. – Когда империя заставит князя Ростислава отступить, не будет ни тебя, ни меня. Впрочем, ты-то еще успеешь бежать, свалив все на меня. На что мне победа, если меня нет среди победителей, а? Что-то происходит. За последний месяц к русским убежали сразу три десятка моих солдат. Из лучших.

– Плохие не бегут, кому они нужны, – согласился Поликарпос.

Склир не сказал ничего нового, обо всем этом Наместник думал: естественные мысли, когда граница близка. Более умудренный жизнью, Поликарпос воздерживался от решительных выводов. Действия людей гораздо случайнее, чем принято думать, часто поступки не имеют видимых поводов, разумных оснований. У солдат, у проповедников, у авторов знаменитых комедий все слишком просто: один сначала сделал что-то, чем вызвал ответное действие, из которого последовали дальнейшие события, вылупляясь одно за другим, как цыплята из яиц. Конечно, кое-что можно рассчитать заранее: когда виноградник даст первый сбор, какую прибыль даст продажа, сколько поросят принесут свиньи... Не совсем точно... Без подобных расчетов нельзя что-либо делать. Но это не предвиденье. Нужно остерегаться торопить события, которые не поддаются расчету, безопаснее, когда время ответит. Решительность Склира неприятна. Комес был слишком занят собой, чтобы заметить незнакомого Поликарпоса: без наигранной улыбки, без внимания к собеседнику лицо Правителя Таврии приобретало неожиданно значительное выражение.

– Я хочу погостить у князя Ростислава, – сказал Склир.

– Хорошая мысль, я сам охотно поехал бы, – ответил Поликарпос, натянув маску незаметно для себя. – Ты поедешь сушей?

– Зачем? – удивился Склир. – Я поплыву. Как только стихнет буря.

– Летний дождь отмое небо за три дня, – сказал Поликарпос. Он думал, что не сказал Склиру пригласить князя погостить в Херсонесе. Почему? И почему вообразилось, будто Склир может пуститься верхом через степь, под дождем?

Судьба, только Судьба. Болтовня о предвидении – шум и лесть для угощения вышестоящих. За последнее время милая Таврия стала какой-то неуютной. Поликарпосу не хотелось вспоминать, почему случилось такое, и он сказал Склиру:

– Знаешь, превосходительнейший, епископ Евтихий, предшественник нынешнего нашего святителя, который скончался лет за пять до твоего приезда, любил говорить: Бог должен был воплотиться в человеке, иначе людям пришлось бы совсем пропасть. Ибо и Богу нельзя было б понять свое творенье, и люди не могли бы понять Бога.

Не найдя, что ответить, комес Склир простился с Наместником. Поликарпос подумал: кто потянул меня за язык лезть в богословие! Этот Склир невыносим. Я не могу выдержать его и часа, чтоб не начать болтать глупости...



– Звезда комеса надувает наши паруса, – сказал кормчий. Он не льстил: иные даже вполне порядочные люди совершенно бескорыстно привязаны к пышным выражениям. Нечто вроде несчастной любви: позора нет, но для посторонних смешно.

Побушевав вволю, восточный ветер уступил место западному, и галера несла полный парус. Легкий корабль обгонял мелкие волны, поднятые ветром. Еще не утихшая крупная зыбь, катясь с юго-востока, поднимала галеру, опускала, и фонтаны брызг взлетали по сторонам острого бивня.

– Проходим Алустон<sup>4</sup>, – сказал кормчий кратко. Он был немного обижен невниманием комеса и решил, по евангельскому выражению, не метать бисера перед свиньями.

Невидимая морская дорога была проложена на Сурожский мыс, и галера шла в пятнадцати-двадцати русских верстах от берега. Таврия стояла на севере сплошной стеной, с неглубокими седлами перевалов в степь, зеленая, но в переливах оттенков от весенней свежести цвета до черноватой бирюзы, с серыми, черными, сизыми лысынами скал. Зыбь падала на берега Таврии пенным прибоем, но расстояние скрывало подошву. Неподвижная Таврия стояла на неподвижном же пьедестале синей воды.

– Какое зрелище! Красивое, красивейшее! Радость глаз! – восторгался спутник комеса Склира, молодой кентарх. Человек хорошо грамотный, на виду, он был послан в Таврию недавно, прямо из Палатия, где служил в дворцовой охране. Почему? За что? Он сам не знал, и комес верил ему. Оговор. Либо неосторожное слово, невинное для произнесшего. Поликарпос сказал бы, вернее, подумал: власть подозрительна, ее решения случайны.

– Красивое, некрасивое, – возразил комес, – пустые слова. Их употребляют поэты в трех случаях: когда им нечего сказать, когда им хочется нечто сказать, но они прячутся под аллегорией, или когда, как ты сейчас, они прибегают к чужим словам. Все эти леса, источники, рощи, проливы, реки, дворцы, розы и прочее прекрасны воистину, если ты обладаешь ими или надеешься обладать. Если же обладание невозможно, плюнь на них, огадь, как сможешь, ибо они отвратительны. Загляни к себе в душу, и ты согласишься со мной.

Кентарх сделал протестующий жест.

– Хорошо, хорошо, – кивнул комес, – не будем спорить, прошу тебя.

Склир был лет на семь-восемь старше своего подчиненного, но казался себе тонким знатоком жизни и, если не терял самообладания, говорил, нет, беседовал ровным, расслабленным голосом, несколько в нос. Он продолжал:

– По возвращении тебе пора будет взглянуть, да, взглянуть и проверить наши посты в горах. Ты убедишься – твои красоты на самом деле не больше чем крепостная стена. Тебе придется побывать и там, и там, и там. – Комес вяло указывал вдаль. – Ты исцарапаешься в колючках, собьешь ноги на камнях, будешь падать, обдерешь кожу на коленях. По ночам тебя будут есть москиты, ты опухнешь от их укусов. Днем тебе досадят мухи, лишив тебя покоя. От жары ты обопьешься холодной водой и расстроишь себе желудок. Поверь, после этого ты променяешь красоты божьей постройки на обыкновенную крепостную стену. Таковую, по-твоему, уродливую, со скучным ровным ходом поверху, с прохладными башнями. Правда, там не пахнет розами. Ленивые солдаты не утруждают себя дальними прогулками. Зато нет москитов, и утром друзья действительно узнают тебя. Не притворяясь из сострадания, что узнают тебя только по голосу.

– Зато там у меня будут минуты радости, минуты наслаждения великолепными видами, – не соглашался кентарх.

– Друг мой, цени в сей жизни не минуты, а дни, – поучительно заметил комес, – только тогда пребудут с тобой благо и долголетие. Да, о долголетьи. В твоих красотах тебе будет жарко вдвойне. Ходить там трудно, да придется еще таскать панцирь и каску.

---

<sup>4</sup> Теперь – Алушта.

– Почему?

– Потому что до сих пор ты живешь будто не в Таврии, а в садах Палатия, – язвительно ответил комес. – В горной Таврии легко получить стрелу между ребер.

– Я здесь уже несколько месяцев и не слыхал о подобном, – возразил кентарх.

– Во-первых, ты еще не бывал дальше Херсонеса и Бухты Символов. Во-вторых, ты много расспрашиваешь. Тебе рассказали об удивительных рыбах, которых, кажется, никто не видал. О чудовище, которое иногда нежится на песчаных отмелях, что на северо-западном берегу Таврии. У него тело, как у гигантской черепахи, лапы с когтями величиною с кинжал, шея толщиной в торс человека и длиной в пять локтей...

– И голова, как у змеи, размером с хороший бочонок. О чудовище я слышал от многих, – сказал кентарх.

– Верно, верно, – согласился комес. – Ты узнал и о звере, который приплыл в Бухту Символов лет двадцать тому назад. Он был длиной с нашу галеру, но гораздо толще, шире. И тому подобное. Все это события чрезвычайные. Они интересны твоим собеседникам, поэтому они и болтают о них. А об обычном люди не говорят, хронографы не пишут. Друг мой, кому это нужно, общеизвестное? Ты слышишь о чужой семейной жизни тогда, когда там нечто случилось. Обычное так же скучно, как проповедь или надписи на могилах добродетельных людей. В лесах нашей Таврии стрела – это будни.

– Кто же убивает в дни мира? – удивился кентарх.

– Дни мира! Что есть мир? – пародируя риторика, воскликнул комес. – Твои горные красоты удобны, чтобы прятаться от закона. Есть также совершенно мирные подданные, которым не нравятся солдаты. Солдаты пугают дичь, иной раз отнимут добычу у охотника. Когда он везет дичь с гор, ему не миновать одной из крепостей, которые ты скоро поедешь посмотреть. Около крепостей появляются наши подданные или полуподданные из степной Таврии. Они нас не любят без всяких причин. Для них дичь – это мы.

– Но это бунтовщики!

– Будь у меня хотя бы одна турма, я подобрал бы горы и закрыл проходы, – сказал комес, теряя небрежный тон.

Вспомнился последний приказ базилевса Константина Дуки о сокращении расходов на стены, на содержание солдат, и комес приказал подать еду и питье. Ему больше не хотелось шутить над кентархом.

Море было оживленным. Рыбачьие суда и челны, торговые корабли разного вида, размера. На пышном, богатом берегу южной Таврии дорогой служило море, и каждый второй мужчина называл себя моряком. Буря закрыла дорогу, и сегодня все спешили наверстать свое. У каждого были свои тропы. Рыбаки выходили на известные места, где, по многолетним приметам, сегодня могла быть рыба, завтра она уйдет на новое пастбище. Грузовые суда соображались с кратчайшим расстоянием, на море оно мерится не милями, а удобством ветра, течений. Местные суда ходили ближе к берегу, влево от пути херсонесской галеры. Правее галеры, в открытом море, прорезают пути из империи в Сурожское море и обратно. Сегодня там, с юга, не поднималось ни одного паруса. Из-за бури. Море только начинало успокаиваться, корабли с Босфора, из Синопа, из Трапезунда были еще далеко. Зато отстаивавшиеся в Сурожском проливе спешили уйти, принимая западный ветер косыми парусами и помогая себе веслами. Таких с галеры можно было сосчитать шесть. Два из них уже скатывались с выпуклости моря на юг, оставив взору мачты.

К вечеру галера поравнялась с Сурожским мысом, и с кормы стал виден огонь маяка, зажегшийся на конце мыса. Ветер упал. Гребцы охотно сели на весла, они спали весь день по так называемому праву ветра.

Медленно-медленно, как кажется ночью, Сурожский маяк уплывал за корму.

Проложив путь по звездам, кормчий поставил за себя помощника и лег спать рядом с кормилом руля.

Гребцы мерно работали, привычно дремля под ритмичный, тихий счет старшего:

– А-а! А-ха!

По левой руке появился огонек, не ярче отблеска света в кошачьем глазу. Сообразив время по звездам, помощник кормчего узнал, что галера прошла мимо узости Таврии. Имперские владения кончились. Маяк горел на Соленом мысу. Им завершается глубокая впадина, которой Русское море входит в Таврию. С севера подобной впадиной врезалось Сурожское море. Русские считают в узком месте двадцать три версты от моря до моря. Это их граница с империей.

Соленомысский маяк утонул в темноте, и помощник кормчего повернул галеру на пол-оборота к северу. Капли с весел падали в прошлое.

Вот впереди показался такой же кошачий глаз – маяк на мысу у входа в Сурожский пролив. Здесь поворачивают вправо, чтобы не врезаться в берег.

Входной маяк Сурожского пролива встал на левой руке, и помощник разбудил кормчего. Небо чуть-чуть бледнело.

Ночь за рулем утомляет вдвое больше, чем день. День на море воспет поэтами, благоговлена ими и ночь – начало ее до часа, когда все, и поэты, отправляются спать.

Настоящая ночь, когда все спят, кроме тебя, постигнута в молчании, награждена молчаньем – оно есть настоящая слава.

Человек уменьшается, море делается грандиознее неба, и бездна живет своей жизнью, и темное в темном становится сильнее, и не знаешь, кто там плеснул – рыба или чудовище со змеиной головой. Дневные насмешники ночью молятся, если умеют. И гребцы гребут, гребут, и кормчий ведет галеру, не уклоняясь с дороги. Может быть, потому, что море не лес, что нельзя, бросив корабль, в страхе залезть на дерево? Или потому, что нужно жить, кормить себя и своих? Может быть... Море – как жизнь: никуда не уйдешь.

Проще: в море, что в жизни, делай, что можешь. А в длинные часы морской ночи человека навещают мысли, в которых днем себе самому признается только храбрый. Да и думает о подобном он больше других. У него ум поживее, воображение щедрей – на то он и храбрый. Другой, потупее, бывает смел не от храбрости – от глупости.

Оставив тяжесть гор на юго-западе, Таврия стекла на восток волнами хрящеватой, сухой холмистой земли и круто оборвалась водой и над водой.

С моря видна глубокая бухта или залив. Ширина у входа по русскому счету – верст пятнадцать.

Правый и левый берега глядят близнецами. Такие же отвесные кручи с узеньким, как ножка у вазы, бережком внизу. Тот же цвет, то же сложение: сверху мощным, многосаженным пластом земли, черновато-серой, с морщинами, как лысая шкура; снизу – прослойками одинаковых раковин. В своей глубине залив закрывается берегами наглухо. Мысы и повороты замыкают для глаз и пролив, и само Сурожское горло.

Геродот рассказывает о случае, который свел жителей восточного берега, азиатов, с жителями западного, европейцами. Лань, спасаясь от юных охотников, бросилась в воду с восточного берега. Преследователи тоже пустились вплавь и вышли на таврийском берегу. К северу от Тмутаракани и Корчева есть место, где подобное могло случиться. Восточный берег вытягивается тонкой, сужающейся стрелой, западный берег тянется встречь. Тому, кого сюда загонят, нет другого спасенья, как в воду. Здесь, в Сурожском горле, от суши до суши всего версты три.

Геродот побывал в Таврии и видел Босфор Киммерийский за пятнадцать столетий до дня, когда херсонесская галера с комесом Склиром входила из моря в пролив. Итак, не будь быстроногой испуганной лани и охотничьей пылкости, Азия и Европа, чтобы познать друг друга через Сурожский пролив, ждали бы еще сколько-то веков?

В Геродотовы годы рассказ о лани и охотниках был тем, что мы называем легендой. Как понимали ее и местные жители, и приезжий писатель, нам неизвестно.

Книжники упрямы и простодушны, им, листая книги вдали от мест и событий, легко справляться с любыми преданьями: написано – и толкуй буква в букву. По характеру начертания книжник определит время, по манере выраженья часто укажет и автора или обнаружит подделку. Что же касается смысла, то лани быстроноги, юность пылка и до нашего дня, на охоте – тем более. Иное приходит на ум путешественнику. Не только в узости, но и в самых широких местах Сурожского пролива хорошо виден противоположный берег, строенья, деревья. Ночью различим даже слабый огонек. В тихую погоду мальчишка одолеет пролив на двух связанных бревнах.

В Таврийской степи водятся серо-желтые ужи-полозы. Иногда утром, после тихой ночи, на песчаном бережку находят след – отпечаток толстого тела, ушедшего в воду. Это выходной след полоза. Входного следа нет, сколько ни ищи: полоз ушел на тот берег. Наскучив давить мышей, сусликов, зайцев, полоз уплыл на охоту давить лягушек в кубанские плавни. Он плыл всю ночь, легко держа над водой плоскую голову, не видя берегов и соображая дорогу по звездам. Или – своим особым способом по опыту тысячелетий.

Сколько бы ни минуло тысячелетий, белое оставалось белым, а черное – черным, хотя слова и словесные образы прошлых дней изменялись, как суждено измениться нынешним, пока люди способны жить. Новая мысль наряжается в старые слова, старые мысли одеваются новыми.

Лань? Охота? Увлечшиеся юноши? Что разумел затейливый для нас, понятный для современников рассказчик? Почему историк записал будто бы нелепость, недостойную зрелого разума? Есть ответ только на последний вопрос: для тогдашних читателей нелепости не было, они понимали рассказ.

Остережемся и мы понимать буквально надписи на древних камнях. Наш ум любит загадки, любит игру изменчивых символов. Унижать умерших, возноситься над якобы глупыми предками так же неумно и так же опасно, как презирать современников. Как бы и наши дела не показались детски наивными скорохвату-потомку, который, как мы, не потрудится сообразить, что начальный, постоянно трезвый смысл неминуемо воплощается в изменчивые слова, в их живые, то есть меняющиеся, сочетанья. Слова кипят, пенятся, как морские волны.

Издали на море все волны одинаковы. Вблизи – нет ни одной такой же, как предыдущая, хотя их вызывает единая сила, не изменившаяся как будто за десятки столетий. Вдобавок – волны никуда не бегут, вода остается на месте, море обманывает, выдавая изгибы за бег.

Солнце висело красным шаром во мгле испарений Сурожского моря и от земли, увлажненной недавними ливнями. Туман закрывал дали пролива, и видимость не превышала пяти верст. Над морем было ясно. Русский маяк на левом, таврическом, мысу виделся кучей камней на холме.

Галера медленно двигалась, кормчий взял ближе к правому берегу. Здесь глубины были достаточны и для тяжелых кораблей, кинкирем с пятью ярусами весел, которых уже давно не строили. Но кое-где со дна поднимались скалы. Отмели перемещались, завися от течений. Течения изменялись по временам года и после сильных дождей, когда увеличивался сток воды из Сурожского моря. После бурь на Русском море отмели перестраивались от глубокого волнения.

Поверхность все та же, внутри же много меняется, как в человеке. Чтоб не посадить корабль на мель, кормчий не смеет доверяться вчерашнему знанию.

– Смотри туда, смотри, прошу тебя, превосходительный, – позвал кормчий Склира, указывая на правый берег.

Склир прищурился, прикрывая ладонью глаза.

– Что это? Ползет какая-то громада! – Он едва не сказал – чудовище.

– Обвал, – объяснил кормчий. – Волны грызут берег снизу, но крутизна держится, висит, пока ее не размочит дождь.

В подтверждение его слов низкая волна, морщина на гладкой воде, пришла от правого берега и чуть-чуть качнула галеру.

Солнце по-утреннему быстро шло вверх. Туманная мгла редела, освобождая пролив. Его оживляли десятки челнов. Во многих местах от берега бежали, как дорожные вехи, тонкие шесты. На них удерживались ставные неводы. Стенка сети шла почти от сухого берега в глубину, завершаясь ловушкой-поворотом. Нехитрая для земного зверя, такая западня была не по плечу скудоумной рыбе.

Перебирая сеть из лодки, владельцы неводов брали ночную добычу. Ценную рыбу бросали в челн черпаком или острогой, ненужную пускали на волю. Пусть живет. Неудобная человеку, пригодится в море. В нем, в море, как и на земле, один охотится на другого. Человеку положено брать нужное ему, а зря портить не положено. Нарушив порядок, сам от того пострадаешь.

Над ловцами летали крылатые рыболовы, силясь схватить рыбешку чуть не из рук. На каждом неводном шесте, куда еще не подтянул свой челн хозяин, сидели рыболовы покрупнее в ожидании людей, чтобы попользоваться своей частью.

Кормчий направил галеру к челну, который неподвижно стоял на якоре.

– Э-гей! – позвал Склир по-русски. – Князь ваш дома ли?

Из челна не ответили. Там кто-то взялся за весла, другой поднял якорь. Третий, крупный мужчина с окладистой бородой, встал и взялся рукой за борт галеры, когда челн сблизился.

– Здоровы будьте, – приветствовал он греков по-русски.

– И ты будь здоров, – отозвался кормчий, не полагаясь на познания Склира в русском языке. И, стараясь исправить невежливость комеса, осведомился: – Как князь Ростислав живет, здоров ли?

– Благополучен, – ответил русский и продолжил по-гречески: – А Поликарпос-правитель? – Получив ответ,ловец продолжал состязание: – Что базилевс Константин? Спокойно ли правит? Не оставляет ли вас в забвении милостями?

Комес Склир разглядел тяжелый перстень с красным камнем на руке, которая держалась за борт, золотой крест на золотой же цепочке под распахнутой на груди серой рубахой грубой ткани. Ловец, как видно, был человек не простой. Они встретились глазами. Комес поднял руку, приветствуя, и ловец поклонился головой, как равный.

– Хватит ли воды пройти к пристаням под правым берегом? – спрашивал кормчий.

Тмутараканский залив был прикрыт от пролива с юга длинной песчаной косой. В иные года коса соединялась с берегом, в другие, превращаясь в остров, оставляла проход.

– Можно пройти, – ответил ловец. – Если пойдешь осторожно, оставишь под днищем четверти три.

– Будь милостив, проводи нас, – попросил кормчий. Ему не хотелось срамиться, бороздя днищем илистые пески. Обход острова потребовал бы более часа усиленной гребли, а гребцы трудились всю ночь.

– Сам не могу, – возразил ловец, – но провожатого дам. Ты его слушайся: хоть он молод, а дно знает, как рыба. Ефа, прыгай к ним, води берегом.

Галера и челн разошлись. Греки разглядели на дне челна двух крупных осетров. На воде лежали поплавки из красной осокорева коры, поддерживая дорожку из острых крючьев для донной ловли.

Ефа, стоя на корме рядом с кормчим, объяснял обеими руками. Галера рванулась, целясь на еще невидимый проход.

Спасая жизнь, повисшую на шелковинке, матерой зверь вырвался из-под конских копыт и покатился, как бурый шар. Не различишь, где спина, где голова. Каждый волосок, каждая жилка жилистого тела, жажда жизни, спасали ее согласно-дружными усилиями.

Волк был беззащитен на плоском солончаке, поросшем низкими пучками солянок. Солончак гладко, едва заметно клонился к мертвому зеркалу соленого озера, которое было восточным рубежом тмутараканской земли. Земли, но не княжества. Недавними усилиями князя Ростислава княжество перекинулось через соленые озера, разветвилось в кубанских и донских плавнях, шагнуло до гор на спинах боевых коней, вторглось на север, в закубанские степи. Гулял слух, что не князь Ростислав соскучился сидеть на Воляни, а тмутараканцы, сучая по добром князе, выманили Ростислава из Владимира. Как княжна из сказки, что разглядела из злата терема храброго витязя... Оставим песни гусярам.

Русский корень не боялся прививок, русский не чуждался иноплеменных. Стоял крепко на двух опорах, будто бы чуждых: на силе и на вольности. Никому не завидовал, ибо не признавал себя обиженным, принужденным, несчастным – и не был таким. В Тмутаракани отличали своих от чужих не по говору, не по облику, не по вере, но тем, что ты для Тмутаракани? Друг или недруг? И русский обычай распространялся легко: добровольно, как образец.

Зная – ушел, но еще не смея довериться непонятной удаче, волк скакал берегом соленого озера, недавней тмутараканской границы, поднимая стаи долгоносых птиц, искателей червяков в жирной грязи.

– Что же ты, князь, почему не стал травить волка? – спросил комес Склир.

– Хотел, да раздумал, – ответил Ростислав. – Пусть живет до своего срока. Что в нем! Летняя шкура не годится на полсть для зимней кошевки. Волчье мясо и наши собаки есть не станут. Зато мы с тобой потешились скачкой.

– Поистине, ты прав, – согласился комес, – такого я никогда не видал. Прими мою благодарность. Я привык думать, что большей прыткости бега, чем квадриги у нас на ипподроме, достичь нельзя. Но по-хозяйски ли мы поступили? Волк – враг твоих стад. Он не перестанет тебе вредить, пусть ты и даровал ему жизнь.

– Не будь волков, пастухи спали бы слишком сладко, – возразил князь Ростислав. – Стада, разбредясь по небрежности пастухов, сами себе причинят больше вреда. Волк тоже пастух, тоже заботится о стаде. Он берет слабого, глупого, больного и улучшает породу.

Пятый день гостит комес Склир в Тмутаракани. Пятый день беседует он с князем. И каждый раз, как сегодня, что-то значительное звучит под простыми словами. Может быть, в том виноват сам Склир? Стараясь понять князя Ростислава, он кружит около него, как голодный волк около стада.

Может быть, нечего и понимать? Не лучше ли прямо спросить, чего ждать греческой Таврии от русского князя? Нельзя спрашивать! Вопросающий награждается ложью. Эта ядовитая мудрость оскопляла умы и более тонких разведчиков, чем комес Склир. Итак, князь Ростислав считает полезной угрозой извне. А кто волк? И кто пастухи? Склир настаивал:

– Волки жадны. Дорвавшись, они убивают больше, чем нужно, зря режут скот. Ты имел право убить его, чтобы убить и бросить тушу стервятникам, как поступает он сам.

– Имел, – ответил Ростислав, – но не воспользовался. Знаешь ли, быть в состоянии чем-либо овладеть и отказаться собственной волей – это значит мочь вдвойне. Отпустить зверя живым – пустое дело, забава. Не случилось ли тебе пощадить в бою противника? Лишить себя удара?

– Нет, – твердо возразил Склир. – Сражаются, чтобы убивать врагов.

– По-моему, – ответил Ростислав, – сражаются для победы. Победа – не поле, устланное трупами, а мир с бывшим противником. Вон там, – Ростислав указал на восток, вдаль, где дневное марево превращало в мираж другой берег соленого озера, – касоги понимают такое. Они говорят: лишняя кровь зовет лишнюю кровь.

– Касоги – молодой народ, они неизвестны в истории, – не согласился комес. – Их мудрость – мудрость детей.

– А есть ли на свете молодые народы, старые народы? – спросил князь Ростислав и ответил: – Все пошли от Адама.

Умолкли. Так получалось. Последнее слово оставалось за князем Ростиславом. Неприязнь многолика. Та, которую комес привез из Херсонеса, оборачивалась ненавистью. Мешала, слепила. И Склир вместо змеиной хитрости, с которой он – обдуманно! – собирался влезть в душу русского князя, щедро смазав путь лестью, спорил. Увлекался спором в заведомо бессмысленном стремлении победить словом – будто бы словом побеждают. И это он, всосавший с молоком матери познание ничтожества слова!

По-человечески оправдывая себя, Склир вспоминал: возражения собеседнику включены философами в способы познания чужих мыслей. Чего же он добился? Да, князь Ростислав будет опаснейшим врагом, если бросится на имперскую Таврию. Но нападет ли? Захочет ли нападать? Нет ответа.

Пора возвращаться с охоты. Провожатые увозили нескольких серн, двух из которых любезно подставили под удар гостю, степных птиц – дроф, стрепетов, битых стрелами Ростислава и других русских. Комес Склир, не будучи метким стрелком, отказался от лука.

Не от самого солнца – палило от всего прозрачного неба. Жару побеждали скачкой по мягким дорогам, с холма в низину, с низины на холм, среди скошенных полей, заставленных тяжелыми снопами. Здесь хлеба вызревают в начале лета. В долинке, на полпути, ждала подстава свежих лошадей. С утра третий раз меняли коней: лошадь слабей человека.

На скачке свежо, ветер обдувает горячее тело. Остановишься – и будто в печь попал. Палит с неба, палит от земли, земля жжет ноги через мягкие подошвы сапог.

Склиру для утоления жажды поднесли напиток из сброженного кобыльего молока. В маленьких бурдюках, пышно укутанных шерстью, странно-сухое, кисловато-острое питье сохранило погребной холод. Пили все. С животов лошадей тек прозрачный пот тонкой струей.

На подставе Склиру подвели иноходца. На таких конях легче сидеть, спокойнее, и они считаются особенно пригодными для женщин. Комес был рад иноходцу. С рассвета в седле и сменить трех лошадей – такого он не испытывал. Он выбивался из сил, чего не хотел показать. И все же внимание к нему Склир прибавил, как оскорбление, к счету завистливой ненависти.

Князь Ростислав был одет в тонкую шелковую рубашку, за плечами шелковый же плащ, голова в затканной золотом повязке – подарки греческой Таврии тмутараканскому владельцу. Комес Склир разрядился по-русски: в рубахе из тончайшего льна, с воротом, рукавами, полкой и грудью, залитыми затейливой вышивкой тмутараканского дела, с мелким жемчугом Русского Севера; такой же пояс; штаны белого льна тканью потолще, чем на рубашке; сапоги тонкой желтой кожи с мягкой, выворотной подошвой – удобнее нет для езды. Все это из вещей, которыми отдаривался князь Ростислав. Склир носил русское платье по этикету.

Поликарпос поручил комесу раздать знатным тмутараканцам подарки по списку, как делалось раньше. Цель – привлечь добрые чувства, обязать влиятельных людей. И – по старому тонкому правилу имперских сношений с варварами – внести рознь между получателями неоднородностью даримого. Почему-де такого-то греки считают лучшим, чем я? Чем это он перед ними выслуживается?

Склир, решив быть еще более тонким, список бросил, а Ростиславу сказал:

– В этих мешках зашито назначенное в подарки твоим людям. Вижу, подобным поступком – раздачей помимо тебя – мы можем показать, что не понимаем достоинства такого князя, как ты. Прошу тебя именем наместника базилевса и моим: прикажи слугам отнести это и поступи, как захочешь.

Экая ж сила – открытая душа! Ростислав сделал было движение отказа, но вдруг согласился. Заготовленные Склиром дальнейшие настоянья остались втуне. В начатой игре он бил

удачно первой же меченой костью. Дальше пошло по-иному. Склир не мог понять: то ли соперник играет не по правилам, то ли попросту он таков? Непонимание увеличивало злость, усложняло игру, слова будто бы сами собой приобретали двойной смысл.

Склир не зря заметил дорогой перстень и золотой крест на груди у ловца, встреченного у входа в Сурожский пролив. То был боярин Вышата, знатный новгородец. Отец Вышаты, Остромир, бывал тысяцким, выборным правителем в Новгороде. Остромира нынешний киевский князь Изяслав посадил своим наместником, покидая Новгород для Киева.

Не обозначало ли присутствие Вышаты в Тмутаракани особых намерений князя Изяслава? Несколько подданных империи, таврийских купцов, имевших оседлость в Тмутаракани и Корчеве, не умели ответить на этот вопрос.

Вышата провожал князя Ростислава на охоту, сам проявил себя пылким наездником. Вышату вышучивали: его-де приворожили морские русалки, из-за них он проводит на море две ночи из трех; ходить Вышате в зятях соленого морского царя, как новгородец Садко хаживал в зятях ильменского.

К острословью товарищей Вышата сам добавлял, зная – иначе совсем зашпыняют. Дескать, дело с морским царем намечается, и дочь у него хороша. Одно – чешуя на девическом хвосте жестковата. Ныне на морском дне строят баню: к свадьбе невестины чешуйки подрастать. Чтобы тестю, морскому царю, не было после свадьбы позора. Приплывут чуда морские славить новобрачных, а молодой весь исцарапался в кровь...

Колясь острыми, как крючья для осетрового лова, шуточками, все хохотали вместе с Вышатой, равные с равными, и пришлые с Ростиславом, и коренные тмутараканцы, общие по повадкам, хоть и не все русской крови. Комес Склир не понимал, как этот хитрый кремень, богатырь-северянин, человек недюжинного ума, образованный, влюбился в теплое море, будто мальчишка несмысленный. Место Вышаты в списке подарков для знатных было из первых. С ним бы повести разговоры...

Вот и последняя холмистая гряда. С нее для глаза Тмутаракань всплывает в конце степи зеленым островом, главным в архипелаге садов, виноградников, которыми город расплескался по своей округе. Склир, отдыхая в плавнодробном покачивании иноходца, понял – пора ему покинуть место, где несколько дней он, как добровольный актер, играл роль посланника империи. А кто он? Что его ждет в Херсонесе? Женщина. Женщина для него не более десятой части той доли, которой он желает, не имея. Его встретит надоевший быт колонии. Стены, укрепления, на починку которых не дают денег. Увольняемые солдаты, которым некуда деться, которые обвинят его же в своей беде. Дальнейшее – быть смещенным из-за потери поддержки из Палатия, чтобы очистить место для такого же дурака, каким был он сам, принимая Таврию? Или утонуть под нашествием, которое, может быть, готовит загадочный русский князь? Утешившись перед смертью лекарством всех неудачников: я, мол, говорил, я предсказывал, но меня не хотели услышать. Тошнит...

Загадка чужой души. Гостеприимный князь Ростислав за несколько дней раскрыл перед Склиром Тмутаракань так, как только может мечтать опытный разведчик. Небольшой кусок земли, верст двадцать с запада на восток, верст двенадцать-пятнадцать с юга на север, был почти островом. Крепость, созданная Богом. На востоке с суши ее связывали узкие полоски, обрамленные морем, солеными озерами, заливами. С моря почти все побережье было закрыто стенами обрывистых берегов. И повсюду в море мели. Высадка армии, о которой Склир говорил с Поликарпосом в Херсонесе, если империя захочет, сможет отомстить за Таврию, – возможна только на востоке, у низких берегов соленых озер. Пресной воды нет. Что будет пить войско в береговых лагерях? Чем поить быков, которые потащат боевые машины, припасы, запасы к Тмутаракани по степи? Флот, который доставит армию, будет обязан возить воду из Сурожа, из Алустона, где немного пресной воды. Устроенных портов либо естественных бухт нет. Незначительное волнение погубит от жажды сначала рабочий скот, а потом и



людей. Высадка и стоянка кораблей удобны только у тмутараканских причалов. Для этого нужно взять сначала саму Тмутаракань. С чего начинать? Когда еж свернулся клубком, лисица изранит себя, ничего не добившись.

Степные тмутараканские предполья будто бы созданы для сражений, есть где развернуть сто тысяч войска. Имперский флот сможет доставить только пехоту. Она рискует сделаться легкой добычей для русской конницы.

С первого взгляда Склиру показались ничтожными стены и башни Тмутаракани: он сравнил их с громадами херсонесских сооружений. Сейчас он видел иное: тмутараканская крепость пригодна, чтобы отбиться от внезапного наскока, и больше не требуется. Осады не выдержит сам осаждающий. Основатель Тмутаракани был великим воином и правильно сделал главным городом не Корчев, тот легче взять.

Они ехали шагом, чтобы дать лошадям остыть в конце дороги. Русские следовали своим правилам езды, сбережению коня придавали большое значение, зато и требовали много. Они проезжали между большими и малыми усадьбами, каждая из которых распустила вокруг себя ряды плодовых деревьев и стройные отряды подвязанных к кольям виноградных лоз, солдат сочного, сладкого изобилия. За оградами из сырых кирпичей или тесаного камня, белеными известью для красоты и прочности, взлетали цепи молотильщиков. Своя доля тмутараканского хлеба перепадет империи.

Мохнатые псы местной зверовой породы глухо и скупно подавали голоса или, забравшись на крышу хлева, молча взирали на проезжавших глазами неласкового хозяина.

Встречные тмутараканцы приветствовали князя со свитой пожеланьем здоровья и шутками:

– Где ж дичина? Много ль убили, кроме лошадиных ног?

Через запущенный ров под крепостной стеной был переброшен постоянный мост: не боимся... Тесная, как во всех крепостях, улица усыпана морским песком. Площадь с белокаменной церковью-красавицей, поставленной князем Мстиславом Красивым. Поворот – и княжий двор. Склир заставил себя бодро прыгнуть с седла, заставил шагать непослушные ноги. Не будь чужих, он приказал бы нести себя.

В отведенных ему покоях княжого дома Склир с трудом опустился в кресло с подлокотниками.

– Что думает превосходительный о нынешнем дне? – спросил кентарх. Он был на охоте, но не имел случая перекинуться словом со своим начальником.

– Превосходительный. Не. Думает. Ничего, – уронил Склир. Сейчас он не любил и себя. Такое бывает, когда объединятся два врага человека – усталость души с усталостью тела.

Кентарх отступил за порог, но отдохнуть комесу не дали. Явились слуги, с водой, тазами, утиральниками, чтобы смыть со знатного гостя охотничий пот и степную пыль.

Ушли слуги, явились бояре Вышата и Порей. Порей, из знатных дружинников, пришел в Тмутаракань вместе с князем Ростиславом. Свежие, будто бы не провели в седле большую часть дня, бояре с некоторой торжественностью известили комеса:

– Князь просит гостя трапезовать вместе с ним, для чего придет сюда сам, дабы почтить дорогого посланца империи.

Склиру пришлось кланяться, благодарить за честь, которую он скромно принимает именем империи, верного друга Тмутаракани и русских.

Минуты покоя. Склиру вспомнилось несколько знакомых лиц, замеченных в Тмутаракани: беглецы, солдаты, которым надоел хлеб империи. Они ели его слишком долго, считая, что получают меньше заслуженного. Каково им здесь? Спрашивать не следовало. Пространства земли не измерены, границы мира, отступая перед путешественниками, остаются недосягаемыми. И все же мир тесен. По свойственной всем непоследовательности, Склир думал о беглецах со злостью.

Мысль как будто проходит сквозь стены и вызывает отклики, эхо, значение которого не умеют ценить. Один из недавних таврийских перебежчиков остановил князя Ростислава на дороге к Склиру.

– Князь, будь осторожен, – просил бывший грек. – Константин Склир – человек коварный, недобрый. Я знал его еще в Константинополе. Поверь мне.

– Чем же он мне опасен здесь? – спросил князь. – Оружие на меня он не поднимет, не вцепится в горло, как леопард.

Ростислав улыбнулся, вообразив Склира в образе громадной кошки: в красивых чертах лица комеса, пожалуй, и вправду проглядывал хищник.

– Не бросится, нет, – серьезно согласился новый княжой дружинник. – Не сердись, что равняю нас, но я на твоём месте не стал бы есть из его рук. Склиры дружат с тайными ядами. Василий Склир, евнух, сжил ядом базилевса Романа Третьего. Менее знатных людей иные Склиры той же силой услали на тот свет, расчищая себе место в этом. Вина тоже я не выпил бы из его рук, пока он сам не отведаёт из той же чаши, что предложит мне.

– Так я сделаю, – согласился князь, дружески положив руки на плечи доброхотного советчика.

Слуги внесли стол, постелили скатерть, расставили блюда. Свежевыпеченный хлеб нового урожая, сероватый, ароматный. Запеченный окорок серны. Сыр двух приготовлений – овечий и коровьего молока. Кислое молоко в запотевших глиняных горшках и пресное кобылье молоко. Глубокое глиняное блюдо с крышкой.

Остались вдвоем. Указывая на стол, князь пригласил гостя:

– Не взыщи, ныне угощенье простое, как подобает мужчинам, которые день провели по-мужски, в седле. Эта пища даёт силу телу, оставляя свободу уму.

Предваряя широким жестом неизбежно-любезные возраженья гостя, Ростислав продолжал:

– Мой пращур, славный памяти Святослав Великий, в одежде и пище был прост. Ему на походе хватало куска мяса, обугленного в костре. По нему и войско держалось того же. Однако во всех самых быстрых походах пращур мой умел кормить войско. Спать ложились сыты, сытыми шли в бой. Голодный – не витязь, сам знаешь. Земля полна сказов о Святославе. Рассказчики тешат нас красивым словом. Книжник углубляется во внутренний смысл подвига. Мы с тобой, воины, понимаем: задумывая войну, полководец о первом думает – как кормить лошадей и людей. Не так ли?

– Так, – согласился Склир, – а также обязан знать, где их поставить для отдыха, оградив от нечаянного нападения, где напоить людей и коней.

– Поэтому ешь, мой гость, и пей, – шутил Ростислав, поднимая тяжелую крышку глиняного блюда. Пошел пар. Вынув большой черный кусок, князь нарезал ломтями мясо, приготовленное на открытом огне. Кругом обугленное, внутри оно было сочно и розовато.

Сам Ростислав ел быстро, с удовольствием утоляя лютый голод. С утра охотились – как воевали, ограничиваясь чуть хмельным сброженным кобыльим молоком.

Комес ел, пил, ощущая, как смягчается острота усталости. И он опять мешал себе поиском особенного смысла, скрытого в словах князя Ростислава. Походы Святослава, сытое войско – сегодня о подобном думал сам Склир. Откуда совпадения, странная общность между ним и русским князем? Склир решился на вызов:

– Узнав тебя, князь, я увидел в тебе качество великого полководца, правителя государства. В империи меньшие люди искали диадемы базилевса. Получали ее. Брали, скажу прямо. Твои родственники на Руси несправедливо поступили с тобой. Ты взял, ты отнял у них Тмутаракань одним своим появлением. Тебя, как видится, оставили здесь в покое. За краткое время ты сделал Тмутаракань такой же сильной, как была она при брате твоего деда, князе Мстиславе. Удовольствуешься ли ты? Если ты захочешь, как Мстислав, взять свое право на Русь...

Речи, подготовленные в молчании, оказываются иными, когда их произносишь, изреченное слово разнится с мыслью: слова будят эхо в душе собеседника, это мешает. Склир замялся, ощущая препятствие. Искать скрытый смысл в обычных словах было легче. Князь Ростислав помог Склиру:

– Ты предлагаешь мне сочувствие? Какое? В чем?

– Да, да, – с облегчением подхватил Склир. – Мы всегда готовы содействовать доброду соседу восстановить справедливость.

– Ты мало ешь, – вспомнил Ростислав обязанности хозяина. Нарезав ломтями печеную дичину, он придвинул блюдо гостю. – Запивай кислым молоком, оно дает силу. Не забывай хлеб, у вас в Таврии так не пекут и нет такой муки, она из отборного зерна, немного недозревшего, нежного.

Ели молча. Трапеза превратилась в подобие перерыва для отдыха. Насытившись, князь пригласил Склира вымыть руки в чашках с водой, поставленных на низкой скамье. Склир искал слов, решившись продолжать, но Ростислав опять подал ему руку.

– Стало быть, империя хочет вмешаться в русские дела? – спросил он с деланным или искренним недоумением. – Мне казалось – у вас много забот и без Руси. Турки, арабы, италийцы, болгары, сербы – не сочтешь. Базилевс Дука, как мы слышим все время, больше мечтает о пополнении казны, чем о далеких войнах...

И о внесении смут между соседями, вспомнил Склир, не подумав, конечно, делиться подобным. Изреченное слово не вернешь, как не вернешь истекшего часа. Русский князь склонен принять его за посла? Что ж, самочинному послу придется выдумывать, и выдумывать смело.

– Нет, – решительно возразил Склир, – империя хочет прочного мира и дружбы с Русью. Я предлагаю тебе иное. В нашей Таврии много беспокойных людей. Твое имя у многих на устах. Пожелай, и мы не воспрепятствуем тебе набирать воинов в нашей Таврии. Мы не увидим, как они потянутся в Корчев через границу. Мы не будем обижать их семьи, не схватим покинутое ими имущество. Несколько тысяч таврийцев в дополнение к твоим воинам дадут тебе власть на Руси.

Такое было разумно, подсказывала Склиру быстрая мысль. В случае успеха имя Константа Склира с одобрением произнесут перед базилевсом, если Поликарпос не выскочит вперед: Склир уже боялся быть обокраденным Правителем Таврии...

– Благодарю, – ответил Ростислав. – За дружбу – дружба. Я отплачу тебе откровенностью. Вы, чужие, глядя на Русь издали, цените ее мерой своих обычаев. В русских князьях вы видите подобие соперников за диадему базилевса. У вас, когда один из таких побеждает, ему достается власть, и патриарх венчает его, повторяя: нет власти иной, как от Бога.

Склир кивал, одобряя, и ждал паузы, чтобы подтвердить, польстить: ты отлично понимаешь империю, побеждает лучший. Но Ростислав опередил его:

– Ты думаешь, я постигаю вашу жизнь? Ошибаешься. Я повторяю чужие слова. Русский, я вижу империю извне. Как я вижу море. Но что в нем, на дне? Какие силы движут морем? Этих сил не знают и чудовища, обитатели дна. Каждому из них знаком свой угол, не более. Говорят некоторые, что в вещах больше смысла, чем в словах. Но сколько же вещей я должен перебрать руками, чтобы постичь умом единую для всех правду? Разве ты не замечал, как люди каждодневно берутся за что-либо? Как призывают других, восстают, воюют? Но получается иное, чем каждый замыслил, принимаясь за дело.

– Это верно, ты, князь, прав, – отозвался Склир, захваченный силой убеждения. – И моя собственная судьба – мой свидетель.

– Ты читаешь книги? – неожиданно спросил Ростислав.

– Я не чужд книгам, для поучения, – ответил Склир.

– А я читаю, – сказал Ростислав, – не для того, чтоб набраться чужих мыслей, не заучиваю. Я упражняю мысль беседой с далекими людьми. Не соглашаюсь, возражаю, сержусь – и благодарю писавшего за мое несогласие, мои возражения, мой гнев. Ты скажешь, в речи живой есть сок, речь записанная похожа на сухое дерево? Пусть. Но нет возможности выслушать всех людей. А сколько речей мы обязаны выслушать? Какой мудрец обозначил границу, назвал предел, сосчитал живые речи и книги? Нет таких мудрецов.

– Но ведь ты не отрицаешь знание, как управлять людьми, государствами! – воскликнул Склир, теряя нить, которую плел, как ему казалось.

– Не отрицаю. Я с тобой откровенен, как обещал. Хочу, чтоб ты понял меня. Цени каждый народ, по-нашему – язык, по его обычаю, не по своему. Русские князья не базилевсы. Наша Земля принимает князя из обычая. Кто пойдет против, того Земля выбросит, пусть он и все города завоюет. Чтобы изменить обычай, нужно каждого человека переделать, мыслимо ли такое?! Со мной дядя поступили по обычаю. Мой отец, хоть и старший Ярославич, не сидел в Киеве. Потому я изгой. Я на Волыни оставил княгиню с моими детьми. Дядя их не теснят, не по обычаю будет из-за меня теснить их. Почему меня в Тмутаракани оставили? Знают, я на Русь не пойду, меня Земля не примет. А еще терпят, зная, что я с этого конца Русь лучше обороню, чем мой брат двоюродный Глеб Святославич. Можно и по-иному рассудить. Тем, что тебе я сказал о князьях, они себя утешили. На деле же – я колюч, второй раз будут гнать, я добром не уйду. Они и не хотят об меня руки колоть. Овчинка выделки не стоит, а вреда от меня нет. Вот и весь мой сказ. Понятно ли я рассказал?

– Не все я понял, – ответил комес Склир.

– Ты остр умом, обдумай и согласишься, – сказал Ростислав. – Я еще с тобой поделюсь. Здешняя тмутараканская вольница какова? В каждом ангел с дьяволом так переплелись, что сам тмутараканец не поймет, где один, где другой. Такой за тебя жизнь отдаст и сам у тебя жизнь отнимет. Какая же наука ими править, с ними жить? Не мешай им, делай по чести, не скрывайся, не прячься. За правду, за свою правду они море горстями вычерпают.

– А твоя дружина, что пришлая здесь? – спросил Склир.

– Видно, все одинаковы. Ссор не было, сжились. Им нет нужды рассуждать, они поступают по своей воле.

– Да, – сказал Склир, на минуту забывший о себе, – у каждого своя правда...

– Вот и верно. Мы соседи с вашей Таврией. Свою правду я вам не навязу. Вы мою правду уважайте. Не годится силой навязываться. Быка седлай не седлай – все равно не поскачешь.

Князь Ростислав рассмеялся собственной шутке. Склир вежливо вторил.

– Гляди-ка! Уж ночь! – воскликнул Ростислав.

Солнце западало за таврийские холмы, и свет в узких окнах посерел.

– Заговорились, гость дорогой, – сказал Ростислав, вставая. – За обещание помощи благодарю. Хоть и не нужно, да любо мне знать рядом с собой доброхотного соседа. Передай мою благодарность Наместнику Поликарпосу. И не взыщи на угощение.

– Я всем доволен, князь, – возразил Склир. – Позволь мне завтра отбыть в Херсонес.

– Не буду тебя удерживать, – согласился Ростислав. – Завтра Тмутаракань даст тебе пир – и плыви с Богом.

Ход из отведенных грекам покоев вел прямо во двор. Со двора князь Ростислав по деревянной лестнице, приложенной к глухой каменной стене, поднялся на крышу второго яруса, а оттуда по второй лестнице – на вышку.

Княжой двор, ставленный еще до Мстислава Красивого, переделывался, исправлялся, поправлялся, перестраивался, надстраивался бог весть сколько раз. Кто только не прикладывал руку к ходам-переходам, добавлял пристройки, набавлял светелку или башенку, закладывал старые окна и двери, пробивал новые, портил либо украшал по собственному вкусу.

Вышку-надстройку придумал какой-то из Ярославовых посадников. Сам княжой двор стоял на высоком месте, и с вышки во все стороны, на сушу, на море, было видать, насколько хватало силы зрения. Зато и посадник на вышке красовался петухом на скирде, по слову язвительных тмутараканцев, и сохранился в памяти не именем, а кличкой – Петух.

В душные ночи тмутараканский люд выбирался спать во дворы, в сады, а князь Ростиславу полюбилося спать здесь, под звездой, на широкой площадке, обрамленной частыми балясинами. Свежо, и нет комаров – высокогато для слабых крыльев докучливых кровопийцев. Догадливый слуга, успев приготовить княжью постель, дожидаясь, зевая. Отпустив его, Ростислав быстро разделся. Летняя ночь коротка, день длинен, нарушенная привычка поспать среди дня отомстила внезапной усталостью. Но вдруг дремоту отогнало беспокойство. «Не слишком ли много наговорил я?» – спросил себя князь.

Сменив стрижей, летучие мыши трепетали в густом синем воздухе. Издали едва-едва слышался хор. Молодежь гуляла на воле, за крепостной стеной, чтоб не мешать сну старших. На тончайшую нить мотива, которую плели девичьи и мужские голоса, воображение низало слова:

Упал... туман... на глу-убь мо-орскую...  
сужский бе-ерег дик и... крут...  
я не о бе-ереге... тоску-ую...

Толкнуло, сбив дремоту совсем: «Ошибся я, грек-соблазнитель вынюхивает. Трепещут они за свою Таврию старческой слабостью. Я перед ним встал прямой, как свеча пред иконой. Правду говорил... Слабосильные умники, они правду выворачивают, как рубаху, ищут в изнанке. Скажи ему, как Святослав говаривал: иду на вас! И он успокоится.

А-а, пусть, что мне греки... Будут мутить через послов в Киеве, в Чернигове, нашептывать Изяславу, будить гнев Святослава. Чтоб им! Далась Таврия! К чему мне она?! Вслед греку пошлю кого-либо к Поликарпосу, посовещавшись с дружиной. Помогут».

Сказанное – сделано, не вернешь. Так ли, иначе ли, Ростислав умел не жалеть ни о давнем прошлом, ни о дне, едва прошедшем. На будущее – наука, нечего голову мучить. Князь-изгой ничего не боялся: справится, пока люди с ним. Спокойной жизни не ждал, злобой жизнь не укорачивал. Открываясь греку, Ростислав запечатлел в словах мысли, которых ранее складно и ясно не высказывал: не было нужды и случая. Ныне бросил бисер свиньям. Поднимут и, не поняв, оборотятся против него же? У него не убудет. Сегодня он сам будто бы лучше понял и себя, и что ему делать. Стало быть, прибыль от хитрого грека?

И уже улыбался и мыслям своим, и тихому-тихому движенью: ишь как крадется ножками в тоненьких туфлях, не думая, как заранее выдал ее вкрадчивый запах масел от разных цветов. Сама делает смесь, и аромат ее – будто с ним родилась.

Вот и она. Чуть коснулась, чуть шелестит:

– Мне там скучно и знойно от стен, ты, мой прохладный, устал, утомился, я только так, только так, ты же спи, мой красавец, усни...

Шептунья, мышка-цветочек чудесный! Сон, глубокий и легкий, без снов.

Медленная луна трудно и поздно рождалась из высокого темного лона востока. Тускло-багровая, такую на Ниле звали Солнцем Мертвых, пока Крест не вытеснил поверья былых людей, пока Полумесяц не вытеснил Крест. Впервые увидев сужскую луну, пришлый русский говорил: кровавая, не к добру. Тмутараканец оспаривал: такая у нас всегда она.

Обычное не страшно, привычному не удивляются, не загадывают, откуда и какой ждать беды. Позднее тмутараканская луна, поднявшись к звездам, омоется воздухом, пожелтеет, побледнеет, а утром станет серебряной, как везде, и забудутся ночные мысли – темные, тревожные. Не будь тревоги – не было б и покоя; не будь несчастья – перестанут счастье ценить;

разлука горька, да все искупается сладостью встречи. Просто-то как! Что за мудрость прадедовская! Однако же так оно есть, а почему? Не от нас пошло, не нами кончится. Пока жив человек, с ним живет его надежда. Собственная.

Княжой стол поставили во дворе, а над двором, чтобы солнце глаза не слепило, не жгло голову, на корабельных мачтах натянули шелковую паволоку, собранную из разных кусков, как пришлось. Пришлось же радугой, наподобие той, которую Бог послал всеизвестному Ною во извещение о конце потопа. Или, проще сказать, какую не раз видят прочие смертные, когда солнечные стрелы догоняют уходящий дождь. Не в порицание Бога – тмутараканская радуга вышла куда как поярче.

Заполнили столами со скамьями княжой двор – только пройти. Столы вышли на улицы, разбежались по улицам. Строила вся Тмутаракань, ибо у какого же князя найдется столько столов и столько скамей и где он такой запас держать будет?

Званных много, вся Тмутаракань с Корчевом, избраны все, и каждому – место. Свое, известное, без спора: каждый каждого знает. Души у всех равны, а счет местам идет по старшинству, начиная с дружинников, местных и пришлых бояр, они же именуются большими, старшими. Они тоже между собой считаются, и за счетом все прочие следят. Иначе не будет порядка, а будет обида. Будет обида – будут и битые головы.

Не только столов со скамьями, ни у какого князя и посуды не хватит на всех: блюд и блюдец, ковшей и ковшиков, горшков и горшечков, ложек и ложечек, мис и мисочек, ножей-ножичков и всякого прочего, без чего стол не в стол, без чего и есть чего есть, да не из чего есть и нечем.

Княжая посуда – бочка с бочонком, кадь с кадкой, да ушаты широкие, да корчаги глубокие, да котлы, да вертела саженные, кули набитые. И еще особая посуда – шесты с крюками, на которых своего дня ждут свиные окорока и бока копченые, дичина мелкая и дичина крупная.

Такова княжая посуда. А другой посудой люди помогут, не впервой пировать.

Не считая княжой поварни, в двадцати местах с утра варили, томили, жарили, парили. Такой дух пошел из Тмутаракани, что в окрестных виноградниках лисы, прехитрые бестии, по слову философа, сытыми пустились охотиться, лакомясь мышинным мясом под новой воздушной приправой – вкусно...

Князь Ростислав вылез на Петухову вышку, где спал ночью, и позвал на весь мир:

– За столы, други-братья, за столы, за столы-ыы!

Силен князь телом, голосом его Бог не обидел, но человек он и нуждается в помощи. Не беда. Вблизи услышали. Вдали увидели. И пустились помогать в сто голосов, в тысячу голосов.

Кто кричит: «Неси на столы!»

Кто: «Садись за столы!»

Кто: «Спешь ко столам!»

А кто, заранее радуясь, белугой ревет: «Под столы, под столы!»

– погоди, не спеши, попадешь и под стол, коль сегодня тебе там постель уготована.

Князь с утра велел ключникам:

– Чтоб ничего у нас не осталось! Ни в подвалах, ни в порубах, ни в повалушах, ни в кладовых, ни в кладовушках, ни в ларях. Чтобы все пусто стало! После пира вымыть, подмести, прибрать, подмазать, подчистить, известью побелить. И нового копить станем.

И покатались, будто живые, бочки с бочонками. Стой! Эх, не догонишь! Ха-ха! Догнал-таки! Стой, непутевая, жди! Ушаты тащили за уши, как им положено. Кади с кадками, с корчагами, с мисами – эти важные, будто престарелые боярыни – ехали на носилках, широкие, толстые. Иные укутаны. Чтой-то там? погоди!

Побежали вертела с жареными телятами, поросятами, свиньями, баранами. Их догоняли шесты с копчеными мясами. Где ж тут одним княжим слугам управиться! Управились. Помощники – вся Тмутаракань.

Чужому, пришлому, непривычному, страшно смотреть. Коту хорошо – шашь на ограду, с ограды – на крышу.

Скрывая отвращение, с невольным, глупым для него, но непобедимым страхом взирал комес Склир, оглушенный дикими криками, на чудовищное метанье варварских толп.

В Константинополе на пирах базилевсов – молчание, чинность. Там более тысячи приглашенных стройно и важно ждали мановенья базилевса. Только жадные осы, при влеченные манящими запахами, и толстые зеленые мухи жужжат, нарушая благоговейную тишину.

Грабеж захваченного города – вот что мнилось Склиру. Он был убежден – добрую часть еды растопчут, вина и меды зря разольют. Неужели нельзя делать в порядке! Однако же свалка, драка, расхищение – иных слов у грека не нашлось – оказались кратки.

Как шквал в летний день. Налетел, шумел, рванул парус, порвал худо закрепленную снасть, качнул судно раз-другой, хлестнул быстрым дождем. И опять светит солнце. На мгновенье вспенив волну, шквал убегает. И пены уж нет, и по-прежнему море спокойно.

Так и здесь... Прихватив за руку гостя, князь Ростислав широким шагом пустился по двору. За ним – другие. Склир не видел. Миг – и на улице, спешат между рядами столов. Опять Склир поразился, но по-иному. Всюду порядок! Бочки с бочонками стоят на равных между собой расстояниях, будто кто-то заранее разметил места... А может быть, и размечали? На сколько-то пирующих – бочонок, на сколько-то – бочка?

Столы были полны и прибраны, ушаты и кадки раздали свое содержимое, не растерявши его. Склир поразился разнообразию угощенья. Что там мяса и рыбы! Столы расцвели солеными овощами, грибами. Грибы – здесь редкое лакомство, их привезли издалека. Какие-то разноцветные ягоды в мисках, моченые сливы, яблоки, что-то еще, чему грек не мог подыскать и названий. Икра, дорогое лакомство имперских любителей, из тех, кто побогаче. Не просто – разных отборов. Начиная от светлой, зернышко к зернышку, нежной, которая тает во рту, и до смоляно-черной, соленой, пряной.

У Склира, как ни стремительно увлекал его князь Ростислав, стало влажно на губах. Голод схватил его. Нынче ему предложили на рассвете, в обычный час утреннего стола, еду довольно легкую и часа за два до полудня – не больше. Заботились оставить место для пира, проклятые скифы!

Для Склира Тмутаракань за столами – тревожная смесь дикого охлоса, сброд всех народов, всех возрастов, мужчин, женщин, детей. Волосы – от пеньки и льна до крыла ворона. Одно роднит – загорелая кожа.

Князь Ростислав раскрывает объятия – всем, да рук не хватает:

– Не обессудьте!.. Князишко я бедный! Все, что имел!.. Эх! Хорошо! От души!.. Накопим еще!

На ходу обнял старика. Расцеловались:

– Еще поживем!

Обнял молодца в невидной одежде:

– Ты, друг! Вспомнил? На Тереке? Что ж, не надумал в дружину ко мне?

Тот мотнул головой:

– Спасибо, я сам по себе!

– Воля твоя, ты сам себе князь!

Сорвал поцелуй у красавицы, прятанной личико в шелковом платочке:

– Не стыдись, на людях не стыдно и с князем поцеловаться!

Разве ж всех обойдешь! Да и пора начинать, люди ждут. Возвращались другой улицей, не шли, не бежали, однако Ростислав так спешил, что Склир сбивался на бег. Мелькали те же лица как будто, та же роскошь на столах. Князь успевал, указывая на спутника, кричать:

– Не забудьте чару поднять за здоровье гостя! Он нам друг! Прибыл послом от друзей! Он славный воин!

Как с седла после скачки, Склир свалился на скамью под радужным пологом, за княжим столом для почетной тмутараканской старшины.

Слуга налил красного вина в чашу прозрачного стекла, которая ждала перед княжим местом. Взяв ее, Ростислав вышел к воротам, поднял и возгласил, будто в храме:

– Да живет русская Тмутаракань! На века! Аминь!

И Тмутаракань зашумела, завопила, и гул, и рокот, и залиvistый свист – все лихо слилось в тесноте и рванулось вихрем в небо так, что оглушенные птицы, взвившись отовсюду, приняли в сторону от буйного города.

Допив чару, Ростислав вернулся, сел, отдыхая, и с доброй улыбкой сказал, не обращаясь ни к кому и обращаясь ко всем:

– Добрый день сегодня, доброго нам пира! До ночи еще далеко. Не будем спешить, други-братья! Продлим время. Оно и без нас торопливо не в меру. Тесно ль ему от наших желаний, или Бог сделал время поспешным, чтобы нас усмирять, не знаю...

Взял копченую утку чирка, разломил, съел со вкусом, обсосал косточки, вытер руки и сказал Склиру:

– Дух силен, плоть немощна. Быка бы съел, кажется. Малую птичку проглотил – и уж нет полноты желанья. В жизни нам, комес, превосходительный друг мой, слаще достигать, чем достигнуть. Волненье борьбы прекраснее, чем обладанье...

Князь, князь! Где твои мудрые ночные мысли? С кем говоришь? Грек запомнит не искренность твою, а признание: этот русский ненасытен, не остановится, такие очень опасны.

– Цену вещей мы сотворяем нашими желаньями, – продолжал Ростислав и спросил Склира: – Какой напиток вкуснее всех?

– У людей разные вкусы, – уклонился Склир от прямого ответа.

– А не приходилось ли тебе, – допрашивал Ростислав, – остаться без воды, ничего не пить два дня, три?

– Нет.

– А мне доводилось. Такой ценой я узнал: нет ничего лучше чистой воды. Но лишь первые глотки драгоценны. Поэтому не буду тебя понуждать. Ешь, пей, пробуй, сколько хочешь, как хочешь.

Следуя совету хозяина, Склир начал с икры – скорей из предрассудка, чем следуя вкусу, – потом увлекся рыбой неизвестной ему породы и какого-то необычайного копчения.

Тем временем за княжим столом между делом шутники ополчились на Туголука, местного боярина: нашел себе красотку, а она каменная, вот он и прячет ее, колдует.

Дело было совсем недавнее. Проезжал Туголук около Острой Могилы – так называли за вид его холм-курган по степной привычке звать все возвышения могилами. Туголуковская собака погнала лисицу. Зверь понорился в холме. Собака стала рыть и вдруг исчезла. Туголук спешился. Потревоженная земля обвалилась, открыв ход. Туголук сделал факел из сухой травы, высек огня и просунулся внутрь. Пещера! Нет, наверху сохранилось подобие свода. Внизу, из-под земли и пыли, виднелись очертанья статуи. Под Тмутараканью, в Корчеве, под Корчевом часто находят клады, засыпанные развалины, подвалы. Забыв собаку, лисицу, дело, по которому ехал, Туголук бросился домой, захватил людей, телегу, лопаты, свечей. Осторожно достали белого мрамора нагую женщину в полный рост. Раньше находили маленькие статуэтки древних богинь, находили большие статуи. Но все большие были поломаны. Эта же – без царапинки, чистая, свежая, новорожденная. Как видно, в пещере кто-то шарил. Перебросав всю землю, искатели нашли мелочь – рукоять меча или кинжала хорошей работы, но плохого золота. Статую, положив в телегу, укрыли и увезли. Туголук собрал каменщиков, и ему в тот же день сложили каменную пристройку, навесили дверь. Туголук замкнул и никого не пускает. Будто бы не вся Тмутаракань знает о чудесной находке.

– И не пушу, – отмахивался Туголук, – нечего мою красавицу глазищами маслить.



– А у тебя не глаза? – не отставали товарищи. – Ослеп, что ли? Жмуришься? Вместо глаз кадильницы подвешиваешь? Святым елеем оченьки мажешь?

– Мой глаз хозяйский, – возражал Туголук, – я ее соблюдаю, как дочь, в чистоте.

– С женой-то как ладишь теперь? – ядовито уколол обладателя драгоценного мрамора боярин Вышата.

За соседним столом, где расселись женщины, жены и дочери, кто-то взвизгнул от озорного удовольствия. Женщины хохотали, толкая под бока туголуковскую хозяйку, и сам Туголук сошел с края.

– Жену мою ты не тронь! – молвил он, привставая, и уже шарил по левому боку, но был пуст от меча шитый цветными нитками праздничный пояс. Грозно привстал и Вышата.

Что спор на пиру? Тот же пожар. Страшен, когда проглядишь первые искры. Друзья тушили лихой огонек, с добрым смехом совали в руки товарищам чары, нажимали на плечи, хлопывали, будто коней:

– Эй, пустое! Чего там, не чужие же...

Что ж, люди поумнее коней, а слово – не дело. Сломив себя, потянулся через стол с полной чашей злонравный, но умный Вышата:

– Ты ж не гневись, не хотел, мол, обиды тебе-то, мало ли что на язык навернется, а ты-то уж сразу, будто лемехом за корень, а корня-то нет, мягко. Ты в сердце гляди!

– Да разве я что? – остывал Туголук. – Слово, оно как? В одно ухо влетело, в другое ушло, шум один. А мы с тобой, друг-брат, тут-то и осушим чашу. За дружбу! За товарищество наше, соленое, тмутараканское! Ты же, Вышата, морелюбец, ты ж уже наш! Ну! За морского тмутараканского царя!

Кольнул-таки! Опять смеялись присмирившие было женщины, и все вместе кричали:

– На веки! На веки! Тмутаракань!

Кто же сильнее, ветер иль солнце, кнут иль овес? Подобрев, Туголук открыл тайну, забыв, что собирался внезапно всех удивить. Он начинает дом перестраивать. Для белой красавицы, по мысли его, уготован на втором ярусе обширный покой.

– Тогда и двери открою. Разве я скуп! Неужто буду такую красоту долго томить в темноте, на безлюдье! Довольно она настрадалась в пещере. Нн-о хороша! И чиста.

Никто не смеялся, не мальцы – мужчины. Не в конуре же жить Красоте! Вышата, ничуть не тая зависти, сказал:

– Не сама ли Елена Троянская к тебе в руки пришла? Удачливый ты... Собаку-то хоть уступи! Может, и меня ждет подружка Елены.

Зависть Вышаты была приятна удачнику. Обнялись Вышата с Туголуком.

Эх ты, Краса Ненаглядная! И врагами до гроба ты можешь нас сделать, и друзьями навек свяжешь, дав тебе послужить. Как же ты велика, если в тебе вся наша жизнь может вестись и жить без тебя нам нельзя! И вот ведь чудо чудное: чем сильнее у человека душа, тем и власть твоя сильнее, Владычица. Над мелкими мала власть твоя, они довольствуются кусочками от ноготков твоих, которые ты безразлично теряешь. Ты же в людской океан мечешь крупночестные сети и добычу берешь по себе. Почему так установлено? Не нам, видно, судить тебя.

Но замечать нам позволено: худо там, Владычица, где нет твоей власти, где, не зная тебя, поклоняются змеям, уродам, чудовищам с разверстыми пастьями. Там не жди добра. Там цены, меры, обычаи опасны и нам, и уродопоклонникам.

Комес Склир наблюдал за ссорой со злорадством, мирная развязка заставила его призадуматься. В списке даримых стоял и Туголук – не в последних, недалеко от Вышаты. Вышата был чужой. Туголук – коренной тмутараканец, внук одного из старших дружинников еще князя Мстислава Красивого. Греки-купцы, оседло жившие в Тмутаракани, знали всю тмутараканскую подноготную.

Коренная Тмутаракань, от малых людей до боярства, безразлично взирала на уход Глеба Святославича. Будто не было Тмутаракани, когда Ростислав снялся перед приходом Святослава Черниговского. Никто не шевельнулся, когда Ростислав вторично вытеснил Глеба.

Как виделось Склиру, Туголук ли, рыбак ли, как молодой парень Ефа, проводивший галеру мимо прибрежных мелей, были той самой Землей, о которой вчера толковал князь Ростислав. По верху ее гуляет легкий ветер княжих споров-усобиц. Либо наоборот: из-за того-то и гуляет на Руси этот ветер, что Земля его терпит.

Так ли, иначе ли, круг замкнулся. Склиру вспомнился вопрос софиста о яйце и курице – пустяк...

Русское – для русских. В Тмутаракани пылкие сердца, холодные головы. В недавних русских святилищах, как говорят, соседствовали огонь и вода, красноречивые символы.

Опасная граница у Таврии, опасный князь сидит рядом. Клянется в дружбе, значит обманывает. Склиру хотелось видеть в Ростиславе обманщика, опасного врага. Грамотей, философ, такой князь сумеет убедить себя, тмутараканцев. Что обязывает его к миру? Чем его удержать? Кто его остановит?

Будто бы нарочно мешая Склиру завершить рассуждения, князь Ростислав обратился к нему:

– Жаль, благородный Склир, что ты так скоро нас покидаешь. Мы понимаем, что ты не можешь надолго оставить командование. Все же ты мало пожил у нас, многим желающим не удалось с тобой побеседовать. Вот, – Ростислав указал на сухолицего немолодого тмутараканца, – боярин Яромир хочет с тобой поговорить.

– Если сумею, отвечу боярину, – сказал Склир и слегка поклонился Яромиру.

Тот повторил движение комеса, расправил обеими руками длинные усы, отчего шелковый плащ скользнул с плеч, удержавшись на шейном золотом колте, и начал:

– В твоей империи есть и наемные войска, за плату. Есть и обязанные службой за земельные участки вместо налога. Ты, как полководец, каких считаешь лучшими? Кем ты хотел бы начальствовать, буде тебе предложат выбор?

Чуть подумав, нет ли в вопросе скрытого смысла, Склир ответил без хитрости:

– Среди наемных есть нанятые неопытными людьми и негодные к бою. Исключая таких, я всегда предпочту наемных. Война – их ремесло, им некуда больше деваться. Призванные в войско земледельцы думают о семьях и как бы поскорее вернуться домой. Поэтому они легко разбегаются.

– Благодарю тебя, – сказал Яромир. – Позволь еще спросить. В твоей империи базилиевсы свергают своих предшественников. Человек ничего не совершит один. Каждому нужны помощники. Чем у вас привлекают помощников те, кто хочет стать базилевсом?

«Будто ребенок, который хочет от первого встречного получить в двух словах объяснение причин, потрясающих государства!» – подумал Склир. Нет, это неспроста. Щедрый тмутараканский почет опьянил Склира. Здесь он полномочный посол империи, на него обращен зрочок Тмутаракани. Скифы превращают пир в училище и гостя в педагога. Он скажет им достаточно, чтобы они оглянулись на себя и запомнили Склира! Для начала увенчать себя лилиями скромности...

– Перед вами не мудрец, – говорил Склир, – я воин, я никогда не мечтал и не возмечтаю покуситься на высшее против моих скромных достоинств.

Здесь Склир, по памяти, высыпал набор слов, которыми обязаны пользоваться верноподданные. Затем перешел к делу:

– В великих делах, как завоевание диадемы, считают наиболее надежными купленных сторонников. Почему? Приобретенные убеждением опасны, они могут переубедиться, они рассуждают, хорошо ли они поступают. И колеблются. Те, кто увлечен возможностью возвышения, обогащения, стремятся скорее получить вожаемое. После удаи они успокаиваются и

служат базилевсу, возведенному ими на трон. Их благополучие связано с базилевсом. Те, кто действовал по убеждению, склонны осуждать базилевса, за которого они только что сражались. Он-де, взяв власть, не так поступает, как обещал. И вместо того чтобы укрепляться, новый базилевс вынужден уничтожать вчерашних друзей, что и опасно, и нелегко исполнить.

Тмутаракань гуляет не одна, полно корчевцев. Корчев – пригород, права его жителей одинаковы с жителями Тмутаракани. У тмутараканских пристаней вода заставлена челнами, лодьями, лодками. Берег занят вытасченными на сухое челноками и лодочками. Отдыхает рыба – хозяева ее трудятся праздную.

На херсонесской галере тихо. Ночью, когда взойдет луна – идет начало третьей четверти, – греки пойдут в обратный путь. Умный кормчий дал гребцам попировать вволю в самом начале. Все спят, отсыпаются. Запасая силы, спит и кормчий, оставив для порядка помощника нести стражу. Ночью кормчий поведет галеру, пользуясь береговым ветерком. К полнолунию море бывает спокойным, тихо оно и сейчас. Зато Тмутаракань шумит. Там людское море-океан.

Океан ли? Или одно привычное сравнение? С скромное сравнение. Однообразно сменяются удар волны и шорох отката. Однообразно воеет ветер в завитках уха – раковины. Одно общее – привыкая или отвлекаясь, человек не слышит бури. Так за княжим столом люди, увлеченные беседой, не слышали буйного шума веселой Тмутаракани.

Говорят, кричат, зовут, поют, смеются, хохочут, бранятся. Чудесные раковины ушей то пропускают весь шум слитно, то начинают отбирать и находят нужное своему обладателю способом, неизвестным ему самому. Послушное ухо. Не всегда.

Где грань между вольностью чувств и подчинением их разуму так, чтобы не отмирало чувство? Никто не знает. Знают иное: вольное чувство можно поработить и замучить, заставив его замолчать до поры, пока оно не отомрет. Навсегда. Ибо нет в человеке кладовой, где он может до времени сохранить ненужное ему для текущего дня.

Кто решится приказывать своему сыну, своей дочери: преврати свою душу в пустой склад?

Кто решится им же советовать: возвращай чувства, давая им вольность?

Вот и умолкли советчики, вот и замерли языки и наемных и добровольных молотильщиков словесной мякины. Нет ответа. Сам решай.

Ликует вольная Тмутаракань. Что там море! Отойди на десять шагов – и нет прикосновения брызг. Подальше уйди – не услышишь и голоса. Люди – как лава, если бы лава, извергнутая огнедышащим жерлом, могла подниматься вверх.

Тмутаракань кипит лавой веселья и мысли. На веселой свободе она пузырится у каждого по-своему. Смотрите, бывалый в разных местах белого света тмутараканец мертвой хваткой вцепился в случайного друга из Корчева. Хмелю ровно настолько, чтобы слова легче текли. Тмутараканец ликует, найдя свежие уши. Со своими он щедро делился и давно надоел.

– Германцы от других отличаются речью, непонятной для них самих. О простом – просто. Хлеб – он хлеб, лошадь – лошадь. Но как начнет германец объяснять, скажем, что правда, что ложь, да почему солнце по небу ходит либо почему они, германцы же, тщатся у себя в Германии устраивать Священную Римскую империю, на что им Римская и почему Священная, то беда им самим. Говорят по-своему, но друг дружку не понимают, и все торгуются, как какое слово понять.

Корчевский вскипает маслом на сковороде. Как все, он любитель порассудить, откуда пошло и то и другое и почему оно так, а не иначе. Только что он убеждал собеседника: есть рыбий язык, рыбы между собою общаются, как сухопутные твари. Иначе как им найти друг дружку, они же не теряются в самой мутной воде. Про Германию знает, отсюда, из-за стола,

пальцем укажет, в какой стороне живут германцы. Но чтобы они по родной речи блуждали даже в зрелом возрасте!

Корчевский давно вырос из молодой поспешности: чего не знаю, того и нет. Не оспаривая нового знакомого, он вслух рассуждает недоумевая:

– Как же так? Белое – бело, черное – черно, доброе – добро... Конечно, не так уж просто понять сущность добра. Для степного кочевника добро, когда он напал и ограбил; зло, когда его нагнали, побили, все отняли, и его, и награбленное. Но слово, слово! Как же без слова!

– И-эх, друг-брат, – подхватывает тмутараканец, – для тебя – черное, белое, а германцу – серое, пестрое.

Подперев бороду кулаком, Корчевский уперся взором куда-то. Чувствует, что в сеть пришла рыба не рыба, зверь не зверь. Мысль его ощущает присутствие чего-то значительного, нужного, хотя прибыли ждать не приходится. И решает:

– Где твой дом? Приду я к тебе, послушаю.

Не до беседы. Затянул кто-то сказанье о красавце Мстиславе. Каждому хочется петь. Прыгнув на стол, песенник управляет руками. Гудят басы, вступают женские голоса. Смолкают по знаку, а песенник высоко звенит горькой жалобой:

Покинул ты нас, богатырь ненаглядный!

Ему отвечают призывом:

Эй, вернись, эй, вернись на крутой берег  
Русского моря!

Но спорит печальный голос запевалы:

Не вернется, не вернется...

Покончив с одной, начинают новую на старый лад; не было бы старых песен, не рождались бы новые. Без новых – забылись бы старые.

На княжьем дворе девушки повели хоровод. Головы в венках, сами в шелках, звенят ожерельями, пальчикам тесно от колец. Красуются красные девичьей вольностью, длинными косами, скромными взглядами, важною поступью. Поют коротенькие величания, а в них среди обрядных слов – колючий репей. У херсонесского воеводы ноженьки сохнут от скачек по тмутараканским холмам. Порей жернов надел вместо шапки – боярин любил похвастаться силой. Вышата – с русалками, Туголук – с белым камнем, Яромир – с летописями, князь Ростислав – с Жар-Птицею, в клеточке содержимой... Словом, всем сестрам – по серьгам.

А солнце-то? Прячется... Убрали навес-радугу, унесли, прибежали с ковром, стол вытащили на середину двора, застелили, с одного конца встали трое гусельщиков, с другого – трое свирельщиков.

Заговорила первая свирель, вторая, третья, вступили гусли. Знакомая мелодия среди общего шума заколебалась камышинкой на буйном ветру. Упорны тростник и струна, повторяют, твердят свое, и песня находит слова в чувствах, внутри человека.

Кто же придумал тебя, сладкое колдовство томительно долгого вступления в песнь? Шум утих. В дверях княжого дома встала Песня. Окутанная легкой тканью, сбежала во двор, и вот уж она на столе, возвышаясь над всеми. С ней пришли слова.

Любимая не надоест тебе, если сумеешь любить. Пусть нет справедливости – есть справедливые люди. Не будет свободы, когда не станет свободных людей.

Я не о береге тоскую...

Пела Песнь о Руси, которую унес в дальние страны витязь в широкой душе. На чужом берегу он играл на русской свирели.

Сражался он, побеждал и был побежден, жил, прикованный цепью к стене. Все у него отняли, ничего не осталось, кроме хранимой в крепости твердой души.

Порвав цепь, он вырвался на волю, но корабль разбился. Он плыл, вокруг него играли дельфины, очи слепли от соленой воды, витязь плыл и лишался уж силы, когда ноги коснулись песчаного дна, над которым стоял берег сурожский, дик и крут...

С помощью малой дружины свирелей и гуслей Песнь – Жар-Птица полонила княжой двор, взяла улицы и сияла в сердце Тмутаракани. Чертит темнеющее небо искра падучей звезды. Забывшись, плачут мужчины, размазывают горькие, сладкие слезы по грубым щекам. Омываются души печалью.

Гаснут факелы. Догорают восковые свечи. Уж поздно. Уж луна тягостно рождается над мглистыми горами. Проглянула, остановилась, и опять ее затянуло во мрак. Трудно ей выйти из темного лона.

Готовы провожатые, которые выведут херсонесскую галеру в открытое море прямым путем. Будто бы повеял береговой ветерок. На княжом дворе, в закрытом месте, он едва шевелит язычки пламени на свечах, а в море поможет. Попутный.

Пора! По приказу комеса Склира молоденький кентарх принес из отведенных грекам покоев большой кувшин с запечатанным горлом и дорогую чашу розоватого стекла с золотым ободком.

– Желаю выпить с тобой последнюю чару! – обратился комес к Ростиславу и осушил чашу до половины. Держа ее обеими руками, Склир сказал князю: – По слову древних язычников, любимцы богов умирают молодыми. Желаю тебе, князь, желаю и себе, чтобы судьба вовремя рассекла нити наших жизней. Чтоб не дожить нам до жалкой дряхлости, да, до дряхлости...

Мысль Склира прервалась. Видно, последние глотки вина пришлись лишними. Чаша, которую он держал обеими руками, дрогнула, и комес едва поймал сосуд, схвативши за верх. Будь чаша полна, он и расплескал бы вино, и омочил пальцы. Покачивая головой себе в укор, Склир справился и продолжал:

– Желаю: не довелось бы нам так состариться, что сделаешься тягостью себе же. Что не станет силы пользоваться радостями жизни. Однако такое далеко от тебя, князь, тебе предстоит долгая жизнь, великие дела. Полюбил я тебя...

Далее Склир благодарил князя и всех его сановников за дружбу, за сердечность, приглашал и князя, и всех гостить в Херсонес.

Утомив других и сам утомленный долгой речью, Склир наконец-то вручил чашу Ростиславу, стоя ждал, пока князь ее не осушит, просил и чашу принять в дар, как залог любви.

Кентарх тем временем угощал всех, разливая вино из кувшина, пока не упала последняя капля. Склир больше не пил, прося прощения: едва держится он на ногах, совсем охмелел. И смеялся, как давился, и целовался с боярами.

Вино похвалили. Нашли один порок. Напрасно греки, любя горькое, добавляют смолу. Не будь того, вину и цены б не было.

Проводили до пристани, помогли гостю переступить через борт. Ноги отказывали Склиру, и его бил озноб. Двое русских ушли на нос галеры, третий встал рядом с кормчим. Галера пошла, увлекая челнок, на котором вернутся провожатые.

Тем и окончился пир. Комес не знал, что трое таврийских перебежчиков горько укорили князя Ростислава, зачем пил из рук Склира. Предлагали задержать греков на время, пока не

скажется, было ли что подложено в вино. Не поздно. Галера пойдет по-над берегом, поскакать да крикнуть своим: сажай греков на мель. Тут же посадят.

Настоянъям перебежчиков не придали веса. Склир сам выпил полчаши у всех на глазах.

Мутно светит луна, красная муть лежит на тихой воде тмутараканского залива. После жарких дней над Сурожским морем, над солеными озерами, над камышовыми топиями донских и кубанских горл встает туманная мгла – издали что твои горы. И гудом гудят комариные рои. Здесь комаров во много раз больше, чем людей на всей земле, даже если собрать всех, живших на ней от Сотворения мира.

Луна неповинна в зловещей мрачности своих тмутараканских восходов. Рукой подать – сделай два перехода на восток и любуйся, как встает она не из-за тяжелых твоему глазу туманных глыб, а из-за легких гор и дарит ясные ночи. Там восход луны поспорит с лучшим часом рассвета.

Черной, как дегтем вымазанная, уходила херсонесская галера, уменьшаясь во мгле. Нет, она таяла, размываясь в море и в ночи, слабел кормовой огонек.

В свою меру наплакавшись под любимую песню, боярин Яромир держал грубую речь в пустой след дорогого гостя:

– Сам себя ты огадил за нашим столом. Потыкать бы тебя носом, как нашкодившего щенка. Пустил я тебя миром, чтоб не класть хулы на Тмутаракань. Многознайка! На клятву свободен, на преступленье клятвы свободен. Десятиязычный!

– Оставь, друг-брат, – сказал князь Ростислав, – что тебе в нем! Они нас боятся, вот и кичился он перед нами от страха.

– Я его оставлю, попадись мне! С камнем на шее в глубоком месте. Гриб погребной! Не только у нас говорят: за одного грека дают девять иудеев. Кто ж спорит, пить-есть хочет каждый. Так знай же меру! Не одним хлебом живет человек. Есть греки и греки. У меня самого мать гречанка. Таких греков, как Склир, ты еще не видал. Ты думаешь, я ему за столом поддавался для смеху? Для тебя, для пришлых с тобою, князь, мы, коренные, старались. Вживайтесь, глядите. Еще скажу, я втрое убавил твои подарки грекам.

– Нехорошо ты сделал! – с досадой возразил Ростислав. – Правда, впору хоть их возвращать.

– Не вернешь! – вмешался Туголук. – Спроси-ка всю Тмутаракань! – И размахнулся пошире: – Всяк тебе скажет: я соблюл честь. Они дают не подарки, а дань. Ты же в ответ жалуй их из милости. Не годится щедро жаловать, зазнаются.

– Верно. Правильно говорит, – поддержали своего коренные тмутараканские бояре.

К ним, к своим, подходили другие местные, и теснились, заполая пристань так, что уж не пройти, и молчали, и в молчании было: пришлый ты, князь Ростислав Владимирович, приняли мы тебя с твоими, но корень твой неглубок, поживи, посиди, вращешься, а пока слушай наше слово, мы – Земля.

Дав урок, постояли и пошли по своим местам, кто доедать-допивать, а кто хмель просыпать. Вовремя греков отпустили. Затяни – и к языкам могло присоединиться железо. Пусть и не каждый, но в хмелю человек выдает затаенное в душе.

К испытанию вином на берегах Теплых Морей добавили второе: мужчину проверяй женщиной, женщину – мужчиной.

По-русски такое не звучит, человек широк, он сам себя испытывает делом. Любовь – как венец, она не пристала ничтожеству, не годится для злобных. Надень – упадет. Это паденье, не в пример другим, легко предсказать, потому и не стоит испытывать.

Галера шла ходко. Гребцы хорошо отдохнули, набрались сил из щедрых тмутараканских котлов. Будь их воля, гостили б они и гостили в Тмутаракани, пока не погонят в тычки.

Прошли мелкие места между песчаным островком – косой и высоким берегом, от которого падали тени, обманчивые, опасные для чужих. Луна, взобравшись на мгlistую грядку,

светила щедрее. Вскоре направо и впереди обозначился маячный огонь на таврийском мысу. Провожатые стали не нужны. Гребцы осушили весла, русские подтянули челн к корме.

Комес Склир, скинув плащ, в который он зябко кутался вопреки теплой ночи, подошел к провожатым.

– Благодарю за услугу, – сказал он, – возвращайтесь с Богом. – И засмеялся: – Скоро у вас будут новости!

– Плыви и ты с миром, – ответил русский старшой. – А какие же новости ты нам сулишь?

– Большие! Неожиданные! – сказал Склир, махнул рукой и расхохотался.

Русские погнали свой челнок изо всех сил, гребли молча. Заговорили на пристани. Старшой сказал:

– Слыхали? Грек скверно смеялся и отпустил непонятно.

– Хмелен, да не пьян, – заметил второй гребец. – Я таких не люблю, говорит – недоговаривает.

– Злобно он хохотал, – добавил третий. – Гребцы с галеры рассказывали о нем – дурной человек. Впрямь плох, коль свои на него чужим наговаривают.

– Не такие для нас и чужие, те гребцы-то, – поправил старшой.

После степного пожара огонь еще долго держится местами среди будто погасшего серо-черного пепла.

Тмутаракань утихла, да не совсем, кое-где еще доканчивают не спеша, в полную сласть. У кого дух посильнее да тело покрепче, с таким не легко справиться хмелю с обжорством. Такой свою меру знает лучше других, да мера-то у него и глубока, и широка. Подсев к первому огоньку, греческие проводники дружно вздохнули и пощупали пояски. До проводов они себя малость обидели, теперь наверстают, для того и спешили.

Луна, став ясной, подтягивалась ко ключу небосвода. Скоро она его одолеет и степенно пойдет книзу. Верховой ветерок, свежая, заигрывал с пламенем огарков свечей, угрожая сорвать с фитиля. Пусть! Светло от луны, а пьяный и при солнышке сует кусок мимо рта. Тихо. Спят псы, нажравшись досыта. Много ль им надо, если сравнить с человеком!..

Провожатые греков ели, пили, грудь нараспашку – сыпали словом в меру, без меры. Среди праздных слов падали полновесные, как на току. Полова же отлетала, как на ветру.

Поменьше болтай, больше поймешь. Греки уплыли? Уплыли. Проводники от себя будто бы ничего не сказали, не убавляли и не прибавили. И дело-то было на пиру да за чарой. Через два дня, через три слухи перекинулись в Корчев: быть худу.

Родилось беспокойство, будто куда-то тебя позовут, будто чешутся руки. Чесали, а зуд оставался: у каждого – свой, у всех – общий по общей причине.

Русская Тмутаракань – отрезанный кусок. Дальний выселок. Не было дороги на Русь, были тропы через чужую степь.

Империя лежала поближе к Таврии, чем Русь к Тмутаракани. На широкой морской дороге грекам могли воспрепятствовать только бури, русским на сухом пути могли помешать люди. Что опаснее? Слепая сила стихии или зрячий, расчетливый степняк?

Вопреки Степи, Тмутаракань растила поколение за поколением. Из-за Степи тмутараканский быт привычно покоился на непокое. Потому-то Тмутаракань могла сразу, без слов, взяться за дело. Потому-то тмутараканцы учили детей: поменьше слушай, побольше узнаешь. И не жаловали поспешных вестовщиков.

Комес Склир, приказав потушить кормовой фонарь – слепит глаза, – глядел и глядел назад, будто бы ждал, будто бы чего-то можно было дожидаться. Утомившись, забылся. Среди ночи очнулся, дрожа от холода: галера шла в открытом море под парусом, береговой ветер разгулялся на просторе.

Звездное небо раскачивалось над Константином Склиром, а он и вспоминал, и видел, и бредил не столь дальней историей Василия Склира, старшего отцова брата. Переплелась она с большими делами империи, и рассказать ее можно так.

В ночь на 11 апреля 1034 года базилевс Роман Третий лежал без сна в палатийской опочивальне. Шла последняя неделя Великого поста, в дни которой сановники ежегодно награждались раздачей денег, и завтра базилевс собирался украсить церемонию своим присутствием.

Путь, которым Роман пришел на престол, был прям и прост. В конце 1028 года серьезно занемог шестидесятисемилетний Константин Восьмой. Близкий конец был очевиден, и главный етериарх – начальник палатийской стражи, – умно и разумно пользуясь величайшим для трусливого базилевса значением своего поста, убедил бодрящегося больного назначить своим преемником скромного, образованного и, думалось, смиренного характером патрикия Романа из фамилии Аргиров, бывшего лишь на десять лет моложе Константина, но зато связанного с династией узами родства. Романа тут же развели с женой и хотели женить на Феодоре, младшей дочери Константина. Но ее сопротивление не удалось побороть, и Роману досталась Зоя, вторая дочь Константина, женщина не молодая и хорошо пожившая в годы своего девчества. Самая старшая, Евдокия, сильно обезображенная оспой, к тому времени успела принять пострижение в монахини. Брак Романа и Зои состоялся за два дня до смерти Константина. Роман объявил прощение недоимок по налогам, казна уплатила долги неисправных должников, находившихся в заключении. Выкупили пленников, уведенных печенегами за Дунай в предыдущее правление. Особенными милостями была осыпана Церковь; клиру Святой Софии новый базилевс назначил богатейшие вспомоществования, дабы клирики, даже последний служка, были до конца дней своих избавлены от заботы не только о своем хлебе насущном, но и о хлебе всех своих присных и родных до дальнего колена. Вступив во вторую половину жизни – считая срок жизни праведных в сто лет, – Роман отдался мечте о строительстве храмов с такой силой, что само духовенство возражало, опасаясь истощения казны. Константин Восьмой изливал золотой дождь на пороки, Роман – на цели добродетельные, которые превращал в зло чрезмерностью. И патриарх, и настоятель Софии не хотели дополнительных украшений и так пышного храма, достаточно кое-что подновить обычной позолотой, когда одного фунта золота хватает на целый купол, украсить кое-что не настоящими камнями, но искусственными, из граненого стекла, подложенного амальгамой.

Ученые богословы-теологи допускали и вещественные изображения Бога, и храмовую роскошь как воздействие на чувства людей истинно верующих, но слабых и непросвещенных, которым для обращения к невидимому нужно видимое, осязаемое. Патриарх, пытаясь вразумить увлекшегося Романа, захотел пояснить: Бога не уловишь, как птицу сетями, обилием вещественных приношений. Но отступил, ибо в Романи, до того времени скромном христианине, открылся доподлинный язычник, подобный тем, которые насильно склоняли к себе милость идолов обилием пролитой на жертвенниках крови животных и пленников.

Базилевс Василий Второй угнетал богатых земельных собственников, видя в них опасность для единства империи. Его брат и преемник Константин Восьмой оставил в силе законы Василия. Роман Третий отменил ограничения, считая, что следует не гнать богатых, но мягко препятствовать им угнетать убогих, малоимущих, которые суть у Бога. Возрадовались Дуки, Фоки, Мелессины, Далассины, Палеологи, Каматиры, Комнины и прочие, которые ненавидели Василия Второго не меньше, чем изувеченные им болгары. Отныне для знатных людей оставалось одно препятствие на дороге к власти – иерархия служащих, которые выдвигались из чем-то отличившихся людей, невзирая на звание. Эти-то служащие – от высших сановников до низшего налоговборщика, – обучая один другого и передавая навыки, удерживали провинции в подчинении Палатию, создавали единство империи и непрерывность правления, кто б ни носил диадему. При Романи Третьем явственно обнаружился спор: кому не править империей, но распоряжаться в ней?



Сам же базилевс, нечаянно пошатнув имперские устои, тут же повернулся спиной и к своим богатым, и к бедным подданным. Ему пришлось заняться собственным домом.

«Дракон бедствовал, ибо управлялся глухой и слепой частью тела – хвостом». Подобной притчей писатель напоминал читателям об опасности ослабления единой для империи центральной власти. Но кто его слушал? Никто.

Клевета и доносы, как непрерывно падающие капли, погашают остатки любви и, в своем постоянстве, заставляют верить себе.

И ранее сестры Зоя и Феодора не ладили между собой. Сама Феодора своим отказом от брака с Романом восстановила против себя базилевса.

Для Зои Роман был мужем по имени, их брак совершился государственным расчетом. Ныне оба объединились в ненависти к Феодоре. Произошло несколько тайных следствий и тайных судов без участия обвиняемых. Если кого и спрашивали, то, как писал современник, «вызывали не на суд, а на осуждение, спрашивали о том, чего не было и чего он не знал».

В предыдущем правлении сын последнего самостоятельного базилевса Болгарии, по имени Пруссиян, командовал одной из малоазийских провинций империи. Свояк будущего базилевса Романа, Василий Склир, человек знатный, решительный и беспокойный, поссорился с Пруссияном и вызвал его на поединок, чем нарушил иерархию. Склир был за это заключен и затем оскотлен в наказание за попытку к побегу. Вскоре, при поддержке Романа, Василия Склира простили. Ныне он был восстановлен в придворной должности: часто применявшееся в империи оскотление отнюдь не рассматривалось как позор или бедствие. Неприятность, как каждое наказание, но временная и открывающая возможность дальнейшего возвышения, тем более для лиц высокопоставленных.

Вскоре после коронации Романа младшая сестра Зои, Феодора, была обвинена в заговоре о похищении престола с помощью Пруссияна. Его ослепили вместе с десятком обвиненных в пособничестве, а мать его, вдову болгарского базилевса Владислава, Марию, из владетельного грузинского рода, сослали в дальний малоазийский монастырь.

Затем показался опасным полководец Константин Дигенис, разбивший и отбросивший за Дунай в 1027 году вторгшихся в империю печенегов. Чтобы разорвать связи, перевели его командовать малоазийскими войсками. Здесь схватили, постригли в монахи и заключили в монастырь. Многих обвинили вместе с Дигенисом. В числе таких был и один из доверенных сановников Василия Второго, Иоанн. Этот Иоанн был вначале приставлен к Феодоре как смотритель ее двора, чтобы погубить сестру базилиссы Зои. Он раскрыл якобы заговор, был награжден, а теперь пришла очередь и ему быть списанным в расход, как выражались в то время. Уличенных по делу Дигениса подвергли публичной порке и разослали по дальним местам под строгий надзор, но на свободе – свободе умирать от голода, прося подаяния. Феодору отправили в монастырь и насильно постригли. Бывшего полководца, ныне смиренного инока Дигениса опять привлекли к суду: он будто бы собрался бежать в горы к скипетарам и выступить претендентом на престол. Дабы избежать наказания плетью, порки, оскотления и ослепления, Дигенис бросился из окна вниз головой на каменные плиты и умер мужчиной.

С осени 1033 года здоровье базилевса Романа начало внезапно ухудшаться. Пропал интерес к пище, и усилия лучших поваров оставались тщетными. Базилевс лысел со странной быстротой, и вскоре у него остались лишь редкие пучки на висках. Борода и усы так поредели, что просвечивала кожа, и волосы можно было бы сосчитать, если бы базилевсу вздумалось приказать это сделать. Лицо опухло, а тело исхудало. Мучила потеря сна. Лучшие врачи тщетно изощрялись в своем искусстве, испытывая отвары трав, настои цветов, драгоценные камни, мази. Ничто не помогало. Базилевс вопрошал: за что? И не видел своей вины, сколько бы ни искал в памяти. Он веровал в Бога, никогда не усомнившись ни в одном из канонов, не нарушал постов, не распутничал, не чревоугодничал, ничего не скрывал на исповеди и думал и искал только пользы для христианской империи. Для этого он соединился таинством брака

с развратной, нечистой женщиной, и грех этот был давно прощен ему Церковью и прощался вновь, так как он, исповедуясь, не забывал вновь и вновь каяться. Откажись тогда Роман, и империя впала бы не в его руки, а в другие, то есть плохие. Не так ли?

Все тело ныло, во рту было гадко, хотелось пить, но лучшие соки лучших плодов были горьки. Нужно есть – он подчинялся врачам, но нежнейшее мясо, и овощи, и молоко – все имело тот же особенный горький привкус чего-то. Чего? Он не мог объяснить словами врачам и гневался на их непонятливость. Невежды, тупицы! В своем присутствии он приказывал евнухам бичевать неспособных и глядел, как вздрагивает голое тело, как корчится, когда евнух метко попадает концом бича в самое чуткое место. И все же не добивается крика, ибо кричать в присутствии базилевса нельзя. Потом базилевс дает наказанному поцеловать руку и предупреждает, и наказанный благодарит базилевса и уходит, едва переступая широко расставленными ногами.

В бессонные ночи базилевс перебирал в памяти сосланных «на свободу», постриженных, заточенных в монастыри. Достаточна ли мера? Взвешивал. Дополнял – такого-то нужно еще ослепить, такому-то урезать нос. Вспоминаются книги – он много читал прежде, – теперь нет времени, и голова, венчанная диадемой, поистине полна, а память свежа по-прежнему.

Философы!... Люди хотят судить особенно о том, чего не знают, ибо известное не интересно. Всем любы рассуждения о Власти – всем безвластным, всем сторонним наблюдателям, иной пищей их ума не корми. Сужденья невинных отроков о женщинах – одни превозносят, другие чернят, но все одинаково скрывают дрожь. Пишут: вольность речи, телесная сила, неукротимый характер, красота – такие качества подданных якобы колют, беспокоят сердца базилевсов. Бессмыслица! Базилевсы нуждаются в сильных помощниках, а наблюдение за ними – государственная необходимость. Базилевс возьмет тяжкий грех на душу, коль позволит разгореться восстанию. Константин Дигенис! Его слишком любят войска, говорят, он тайно сносится с болгарами, посылает тайных послов за Дунай к печенегам...

Роман протянул руку и слегка – не хочется делать усилий – толкнул низкий столик у изголовья. Послушно вздрогнув, столик сбросил серебряный шарик, и желобок направил его на край бронзового колокола величиной с голову ребенка. Подвешенный почти над полом, колокол издал длинный звук, нежный, как голос женщины. Вдали шевельнулась тяжелая порфировая завеса двери, почти черная в слабом свете лампад, и явилось нечто белое, неясное, как пятно снега на далекой горе, как клочок тумана, который – Роман очень помнит – однажды испугал его на ночной переправе через Босфор. Давно. Тогда он еще не был базилевсом, а был ничем. Теперь он не боится ни ночи, ни смутных образов снов, ни теней, ни движений. Он базилевс, обеспечивший себе безопасность. Пришел доверенный евнух. Свой, родственник, зять. Василий Склир, которого оскостили за буйство при Константине Восьмом. Тогда Роман выхлопотал ему свободу, прощение, избавив от худшего, ибо поговаривали об ослеплении. Склир наклоняется к своему державному родственнику. «Зеркало!» – приказывает базилевс. От маленькой лампадки – не перед иконой – Склир зажигает свечку и переносит огонь к седьмисвечнику за изголовьем кровати, именуемой священным ложем, берет большое зеркало и становится так, что Роман видит себя. Базилевс любит смотреться – часто и подолгу глядится он в зеркало. Перемены были быстры, но базилевс не замечал их. Он смотрит, поднимает и опускает редкие брови, разглаживает тонкими пальцами волоски бороды и глядит, отыскивая не внешность, а сущность. Угадывая, по привычке, Склир подносит зеркало ближе, базилевс заглядывает себе в глаза и чуть улыбается собственному величию.

Ночь. Палатий спит, а те, кто в Палатии бодрствует, кто ходит, наблюдая за порядком, те немые, как статуи, и легконоги, как сны.

Тишина.

Базилевс мигает, Склир относит зеркало на подставку и ждет. Базилевс видит лицо, обычное лицо евнуха – все они похожи, как братья, – и чуть кивает. Склир подходит к изголовью.

Базилевс кивает еще раз. Склир садится. Папирус, чернильница, перо готовы, предстоит записывать волю, как бывало не раз. Склир спит рядом, в соседнем покое, где посменно дежурят еще евнухи, вернейшие из верных. Склир сам проснулся незадолго до зова и поэтому так быстро вошел. Угадал.

Базилевс хочет назвать имя опасного человека и вдруг вспоминает со страхом: Константин Дигенис давно мертв! Забыл, забыл! И едва не выдал свою слабость!

Базилевс тихо приказывает:

– Запиши, – и называет несколько имен из числа тех, которые уже несколько раз упоминались как подозрительные. – Поставь по два крестика, – замечает Роман. Это значит ослепление и ссылка в самые дальние места. Указ принесут на подпись завтра, Склир распорядится сам. Закончив, Склир поднимает голову. Сегодня всем сановникам радость. Нужно и этому сделать подарок. И базилевс говорит: – Пиши еще, Пруссиян и – черта. – Черта обозначает смерть. Склир тянется и целует руку благодетеля. Наверное, он доволен.

Забывшись перед рассветом – базилевс спал час с небольшим, что много для него, – он погляделся в зеркало при свете восходящего солнца. Да, сон освежает.

– Что делают там? – спросил он Склира. Там – это в покоях базилисы, будто бы жены, брак с которой был освящен Церковью, принес Роману диадему, но не был завершен. Роман думает, что тайну знают лишь двое – он и Зоя: циничность тучной и рослой женщины, распутной, как отец ее, и брезгливость гаснущей мужественности начинающего базилевса вызвали унижительную сцену. И страшную для Романа, который, по палатийской привычке гнуть спину и душу, не сумел разогнуться. Тогда он вообразил, что эта отвратительная женщина действительно захотела в нем мужа, ей же нужно было унижить его и вырвать право пользоваться той же свободой, какая была у нее ранее, у этой развратницы, имевшей желание на многих мужей. И он дал ей свободу, поклявшись на величайших святынях – частицах креста и гвоздях, – которые Зоя приказала принести из алтаря храма Софии. Всеочищающая память обелила прошлое, и Роман простил себе, обезопасил себя. Он – базилевс, он правит, не она.

– Там без перемен, величайший, – ответил Склир, – те же, и то же, и – тот же. – Не называя имени, Склир разумел красавца Михаила, младшего брата евнуха Иоанна, находившегося в услужении у Романа, когда нынешний базилевс был только патрикием империи.

Три года тому назад базилевс взял к себе двадцатилетнего Михаила для личных услуг. Мальчик понравился ему и характером, и умом; он был хорошо грамотен, начитан. Его ждало хорошее будущее. И вдруг, тому минуло больше года, Михаил внезапно оказался в покоях базилисы, и базилисса потребовала, чтоб он там и остался, напомнив Роману о клятве. Да, следовало бы нечто сделать с отвратительной грешницей. Если бы не болезнь. Но кажется, ему становится лучше. Только бы поправиться – и придет очередь Палатия, его нужно очистить от скверны.

– Ох, скверна, скверна, ох, грехи! – повторил Роман вслух. – Долго ли Бог терпеть будет? А, Василий?

Склир не ответил, так как ответа не требовалось.

– Хочу в баню, дабы явиться освеженным перед глазами людей на выходе моем, – приказал Роман.

Повели под руки, умело и почтительно поддерживая всей силой, так как Роман обвисал и ноги его волочились, как у мертвого. Распахнули дверь малого выхода. Здесь, в проходе, стояли отборные солдаты дворцовой стражи. Базилевс ожил – откуда взялись силы. Сам прошел переход, и, только когда за входом в банный покой замкнулись двери, оставив базилевса наедине с евнухами, он опять повис на чужих руках.

В теплом, благоуханном воздухе бани после мытья, растираний, после того, как тело расправили, вытянули, освежили, базилевс ожил, сел на мраморной скамье, улыбнулся и даже не приказал, а просто сказал, будто на время забыл о величии:

– Ах, хорошо, хорошо! А теперь плавать хочу.

Он любил плавать. Банщики, сделав дело, ушли. С базилевсом оставались Склир и оба спальных евнуха. Одетые для приличия в короткие штаны, они, поддерживая с двух сторон базилевса, медленно сходили в воду по широким ступенькам лестницы, доходившей до самого дна. Склир глядел сзади на жалкую фигуру базилевса – живой скелет с раздутыми коленями, выдающимися позвонками хребта. Большая, опухшая, даже сзади лысая голова дрожала, но базилевс держал ее гордо, откидывая назад, будто глядел куда-то вдаль, над водой цистерны, прямоугольника длиной шагов в сорок и шириной в пятнадцать. У лестницы вода доходила до груди, дальше дно понижалось до глубины двух ростов, дабы базилевсы могли плавать и нырять, как в море.

Похожий цветом тела на заморенную голодом ошипанную курицу, базилевс был особенно страшен между евнухами, широкими в тазе, откормлено-жирными, тяжелыми. Они напомнили Склиру базилиссе Зою, такую же тяжелую, но еще более широкую и смуглокожую, – евнухи всех видят – в этой цистерне, где она резвилась, и не одна – от евнухов ничего не скрывают.

Погрузившись в воду, базилевс оттолкнул свои живые опоры и – чудо! – поплыл, едва-едва, но поплыл. Повернул, поискал ногами – говорят, нельзя разучиться плавать, – нашел дно и пошел обратно. Слегка задыхающимся голосом он позвал Склира:

– Василий, иди сюда, хорошо! А я еще поныряю! – И, заткнув пальцами уши и нос, закрыл глаза и, подпрыгнув, погрузился.

Евнухи двинулись навстречу, чтобы помочь. Когда толстая лысая голова показалась над водой, евнухи разом положили свои широкие мягкие лапы на плечи базилевсу, нажали, и странное мертвенное лицо беззвучно исчезло.

Через несколько месяцев после побега красавца Михаила в базилиссины покои евнух Иоанн, брат беглеца и старый слуга Романа Аргира, представил Василию Склиру неопровержимые доказательства. Оказалось, что лишь по своей лености, трусости и небрежению Роман не вмешался вовремя в дни ссоры Склира с Пруссияном. Оказывается, что не поздно было бы Роману вмешаться и тогда, когда за попытку к побегу Склира приговорили к осклоплению. Оказывается, Роман сказал – беда невелика, станет только умней и спокойней. Оказывается, жена Склира, которая была сестрой жены Романа, одолевала своего могущественного родственника жалобами на распутство и обиды от надоевшего мужа.

Пища и питье базилевса готовились под надзором, пробовались десятками людей, в том числе всеми, кто готовил и прикасался. Последними руками и последним ртом были руки и рот Склира. Евнух Иоанн дал Склиру белый порошок, и яд целиком достался базилевсу. Медленный яд, ибо быстрого яда боялись. Иоанн говорил: этим же угостили Цимисхия. И некоторых других. Роман оказался крепок. Дали еще порошка. У этого базилевса душа жадно держалась за брэнное тело. Болен, умирает и – живет. Нет дня, чтоб не прошел слух – кончается. Нет конца. Нужно сделать конец. Сделали.

Пора, теперь безопасно. Поеживаясь, Склир вошел в теплую воду. Приказал евнухам, окоченевшим, как камни:

– Довольно!

Жалкие останки, не поднимая над водой, потащили к лестнице и выволокли на ступеньки. Действительно, эта душа была приколочена к костям калеными гвоздями. Не открывая глаз, базилевс чуть дернулся, плечи приподнялись, точно грудь собиралась вздохнуть. Не вздохнула. Рот приоткрылся, и человек осквернил розовый с прожилками мрамор ступени струйкой черной жидкости. «Белый порошок превращается в черный», – невольно подумал Склир.

– Смойте, – сказал он евнухам. Сам же глядел на мертвое лицо, одной рукой ища биение жилы в запястье, другую положив на сердце. Остановилось. И лицо уже менялось, расправляемое пальцами смерти. – Иди, сообщи базилиссе, – приказал Склир одному из евнухов.

Тот, мгновенно одевшись, надел на мясо лица маску торжественной горести и поспешил, вестник нового властвования.

Склир и второй евнух, вытащив тело, положили на спину, скрестили покойнику руки на груди, как полагается, и обвязали полотенцем, чтоб не разошлись. Глаза же оставались сами закрыты.

– Нам с тобой хорошо, а... – начал Склир, обратившись к евнуху, и не окончил, нельзя, и договорил про себя: «А империя, а диадема ходят по рукам, как портовые блудницы...»

Он отомстил лжецу, выместил зло на блудослове, который обманывал самого себя еще больше, чем других. Роман и тут хотел обмануть – сумел не глотнуть воды, сумел сжаться. Не вышло – лопнул внутри и задохся; хоть и отхаркал яд, но поздно.

А злоба жила, злоба не угасла. Кого бы еще, на ком бы сорвать, да не сразу, а так, как на этом, чтобы чах, иссыхал и к тебе же тянулся за помощью... Кого мне теперь ненавидеть?

Вверх, вниз раскачивались звезды над Константином Склиром, и будто бы светало, иль просто устал он... Дряхлый дядя Василий, живший в своем владении затворником, однажды пожелал поглядеть на мальчишку-племянника. Константу помнилась мягкая рука, бледное пухлое лицо, добрая улыбка; слов не сохранила детская память. Евнух вскоре умер, отказав все Константу. Но завещанное – до последней лозы виноградников – взяли заимодавцы. Впоследствии домоправитель матери неудачливого наследника рассказал взрослому Константу о найденных в доме Василия копиях сотен доносов, которыми развлекался евнух, а также о собственных его воспоминаниях о жизни. Все это тогда же сожгли. Но куда дядя дел свое золото, на что истратил? На утоление ненависти – так думал Константин. Но кого евнух ненавидел после Романа и кого губил? Знают Бог и могилы...

Укутавшись, комес Склир уснул крепким сном. Пробудившись днем, приказал подать еду и опять спал, вознаграждал себя за трудные дни. И гребцы завидовали знатному человеку, сановнику, и каждый отдал бы сразу полжизни иль больше, чтобы поменяться местом с подлинным Феликсом – Баловнем Судьбы. Завидовал Склиру-Феликсу и молодой кентарх, которого Склир не хотел замечать.

Кормчий, местный уроженец, человек немолодой, был встревожен. Странны слова, сказанные комесом русским. Так не шутят. Зачем тушить фонарь? Зачем сидеть на корме? Что он, боялся погони? Кормчий был свидетелем неприятного зрелища. Привезли подарки. Только что их собрались погрузить на галеру, как явился русский боярин и взял назад наибольшую часть. Нехорошо...

Галера проходила узким, извилистым устьем Бухты Символов. Вечерело, иначе ложились тени, берега показались другими.

А! Ждут! Склир не подумал, что галеру, замеченную в море, как всегда, опередили сигналы постов. Он сошел на пристань. С видом победителя, как возница, выигравший бег квадриг, Склир поднял руку.

– Приветствую, приветствую! – воскликнул он, обращаясь к кучке встречающих. – Я привез добрую весть! Тмутараканский владетель обречен смерти. Ему осталось семь дней жизни.

– Он болен? – спросил старый кентарх, командующий отрядом Бухты Символов, правого края обороны Херсонеса.

– Нет еще, – ответил Склир, – но он скоро заболит, и его болезнь смертельна.

Не просто, нет, не просто совершить иное дело своей рукой, хотя такие же дела совершались уже многими тысячами раз. Предшественник прокладывает путь, как принято говорить.

Как в чем! Испытай. Лезь в узкую щель, втискивай тело, дави страх, сдирая себе кожу с мяса и мясо с костей.

Нет, первому-то было легче. Всякие пути, указки и прочая словесная вязь суть звонкие образы, побрякушки речей. Нет, первый поступал так либо иначе в меру своего призвания, своих способностей и никакого пути не оставил.

Он либо они завещали примеры своих якобы тайных успехов. Сколько-то базилевсов. Сколько-то известных людей. Жен, избавившихся от мужей. Мужей, освободивших себя от досадных уз брака. Детей, угнетенных скупыми, непонятливыми родителями.

Удержи кусочек размером с чечевичное зерно под ногтем, урони его в чашу у всех на глазах. Сумей – зная, что делаешь! – задержать чашу в руках, отвлечь внимание на срок, пока не растворится добавка к вину. Встряхни, размешай, чтоб начинка вина не осталась в осадке. Пользуйся вином, приправленным смолою, – смола отобьет привкус.

Забыв пристрастие к пышным словам, потрясенный кормчий галеры, выгнав жену, рассказал о странных словах и делах окаянного Склира двум верным друзьям-морякам. Конечно, кто же не слыхал об отравителях Склирах, у них, говорят, передаются по наследству секреты составов и готовые снадобья, которых хватит на всю империю. Уж хоть бы молчал. Из-за его хвастовства Тмутаракань возьмет нас за горло. Поглядишь на него – горд, будто победил каирского калифа. Такому море по колено: спал как младенец.

Ошибались, судя по себе. Трудно влезть в чужую шкуру. Склир очнулся в дороге: «Что, я спал?» Сильная лошадь, запряженная по-русски в оглобли, легко уносила повозку по гладкой дороге к Херсонесу.

– Прямо в Палатий Наместника! – крикнул Склир вознице, не помня, куда приказал везти себя, садясь в повозку. – Быстрее! Ну! Гони! – И ткнул кулаком в спину.

Конечно, к Поликарпосу. Не странно ли, не иметь никого, никого. Айше не в счет.

В Тмутаракани он не помнил об Айше. Поликарпос показал ее Склиру. Молодую сирийку в Херсонес привезла старуха, назвавшаяся теткой. Айше было тогда пятнадцать лет, как утверждала она сама, как говорила тетка, так было обозначено и в свидетельстве. Правитель Таврии, плененный красотой Айше, подобрал женщин. Немолодой сановник, старик для Склира, устроил себе обитель блаженства с помощью Айше.

Обладатели драгоценностей любят тешиться восхищением посторонних. Поликарпос показал сирийскую прельстительницу Константу Склиру:

– Мы оба, любезный друг, пусть добровольные, но все же изгнанники. Ах, Константинополь! Жемчужина мира! Столица вселенной! Скажу тебе, ты поймешь, подобную женщину и там поищешь. Такое нечасто, да.

Толстый Правитель шевелил толстыми пальчиками, будто играя на некоем музыкальном инструменте. Понимай как хочешь, но в Херсонесе, в деревне, умный человек может недурно устроиться. Особенно когда он первый в этой деревне.

Сомнительное первенство. Вернее сказать, известное изречение Юлия Цезаря не следует переводить буквально. Мы бы предложили: лучше быть первым на острове, чем вторым на материке. Ибо остров, особенно скудный, может быть самостоятельным, деревни же зависят от городов, и восторги деревенских первенцев подобны радостям жизни бабочки-эфемеры: один день.

День Поликарпоса длился почти два года. Затем Айше предпочла Правителю комеса. Поликарпосу, кроме первого места в деревне, пришлось также усесться в готовое каждому из нас жесткое кресло философа-стоика.

Власть гражданская еще раз уступила подчиненной ей власти военной? Нет, конечно. Но что мог сделать Наместник комесу? Темнить служебное положение из-за такого пустяка, как наложица...

Империя давным-давно провалилась бы, не умей Палатий следить за частной жизнью сановников. Да, истинное лицо человека видно в его личной жизни. Государственная необходимость жестока, и кто поставит раздел между беспристрастной строгостью надсмотрщика и жадным любопытством сладострастника-подглядывателя?

Обличители тайных пороков терпеливы, как завистники, до часа, когда нужно и выгодно сделать скрытое явным. Где-то в Херсонесе, как и в других городах империи, сидел незаметный человек. Через кого-то, в какие-то сроки он слал прямо в Палатий мусор спален и помой кухонь значительных лиц. Эта смесь, антипод золота, тоже не пахнет: вопреки мнению толпы, которая предвзято, безосновательно верит в дружбу подобных, сходятся противоположности. В Палатии знают, как Склир лишил Поликарпоса наложницы. Дело будто б пустое? Нет, при стычке там подумают: Наместник мстит комесу...

Констант Склир оказался весьма болтливым и дал Поликарпосу время опомниться, время принять происшедшее. Сопровождая многословие Склира кивками, Наместник изговаривался к состязанию.

– Вполне ли ты убежден в успехе? – спросил он.

– Да, я делал все сам. Кто-то сказал: заботящийся о себе обязан служить себе сам, – блеснул комес.

– Не оспариваю, – согласился Поликарпос. – Но снадобье, – они оба не хотели настоящего названия, – хорошо ли? Ты ведь знаешь правду о Романе Третьем! Его долго кормили этим и наконец утопили.

Дерзость! Василий Склир, распорядившийся базилевсом Романом, приходился родственником комесу Константу. Но сейчас Склиру не время ссориться... И Поликарпос это знал.

– Средство верное, – возразил Склир, – проверено. Я сам проверял.

– На человеке? – деловито осведомился Поликарпос с умелой наивностью.

Склиру пришлось проглотить вторую дерзость. Он не ответил.

– Понимаю, понимаю, – поспешил Поликарпос с той же непосредственностью. – Что же! Будем молчать и ждать.

– Чего? – вскинулся Склир. – Я бросился с дороги прямо к тебе не для болтовни. Прикажи подать нужное для письма. Папирус для черновой и пергамент для переписки. Я составлю донесение базилевсу. Ты скрепишь и немедленно отправишь. Я обеспечил базилевсу мир в Таврии. Он имеет право узнать об этом.

– Величайший, августейший, божественный имеет все права, – согласился Поликарпос. Недавно и дружно они издевались над базилевсом. Столь же дружно забыли – большой знак! – Однако рассудим, как говорил философ, – продолжал Поликарпос. – Если князь Ростислав будет жить, ты окажешься в тесной одежде. И я с тобой. Если умрет – твоя туника окажется еще более узкой. И моя. Несправедливо для меня в обоих случаях. Но базилевс Константин Дука строг во всем, что касается формы.

– Как! Ты не одобряешь меня? – воскликнул Склир. – Ты не хочешь смерти врагам?

– Одобряю и хочу, – возразил Поликарпос. – Я вообще хотел бы смерти им всем. Мне было б так покойно, вымри они все за нашей границей. Никого не бояться. Возвращение в рай. Да, я накормил бы всех твоим снадобьем! Мы сняли бы расходы на стены, на войско. Трех сотен отборных солдат нам хватит следить за повиновением подданных. Предварительно мы отнимем у подданных оружие, к чему им оно будет тогда, – мечтал Поликарпос. – Но, увы, такое не в нашей власти...

– Ты забросал меня словами, я не понимаю, – прервал Поликарпоса Склир.

– Сейчас, сейчас, – заспешил Поликарпос, – поймешь! Ты, может быть, действительно совершил доброе дело. Но даже такие замечательные полководцы, как ты, превосходительней-

ший, незнакомы с некоторыми вещами. Хотя базилевс не поручал тебе ничего, ты в Тмутаракани был для русских послом империи. Послы империи не убивают, не кормят... снадобьями.

– Ты! – вскочил Склир. – Ты! – Он плевался от ярости. – Ты со мной как с мальчишкой! Что-о! Я не знаю? Чего не знаю? Дел наших послов? Не понимаю пользы империи? – Комес искал рукоятку меча.

– Тише, тише! – Поликарпос махал на Склира обеими руками, как птичница на задорного петуха. – Мало ли что бывало! По какому-то поводу в Писании сказано, что левая рука не должна знать, что совершает правая. А ты хочешь, чтоб я скрепил твое донесение и послал галеру! Будто мы вместе с тобой кормили Ростислава. Не перебивай! – простер руки Поликарпос. – Такое будет значить для меня еще худшее: я сам не умею молчать и не сумел тебя убедить. Слушай! И кормят, и убивают. Но никогда не признаются, никогда. Империя должна быть чиста. Существует только то, о чем знают. Незвестного не было.

– Конечно, – согласился Склир, – и мы пошлем пергамент самому базилевсу.

– Ты не знаешь канцелярий, – возразил Поликарпос. – На имя базилевса поступают десятки писем. Читать их базилевсу не хватит суток. Читают в канцеляриях. Докладывают только то, на что не могут или не смеют ответить сами. В таких особенных случаях заранее подбирают ответы на вопросы, которые может задать базилевс. Твое донесение особенное. В Канцелярии подберут справки о Таврии, о русских, о тебе, обо мне, будут ждать вести о смерти князя. Когда она поступит, базилевсу сразу доложат все. Не поступит? Будут еще выжидать, выжидать, найдут час и все же доложат. В обоих случаях и мне, и тебе будет плохо.

– Но за что? За что? – повторял Склир, как-то сразу упав духом.

– Разглашение государственной тайны, – сказал Поликарпос, переходя в наступление. – Я твержу, твержу, а ты будто не слышишь.

– Превосходительнейший! – воззвал Склир, и Поликарпос заметил себе: наконец-то вспомнились приличия. – Превосходительнейший, кто упрекнет нас в разгласке, если мы положим печати и напишем: государственная тайна?!

– Опять «мы»! – упрекнул Поликарпос.

Склир проглотил, и Поликарпос продолжал поучать:

– В Палатии все секретно, нет ничего для оглашения. И все знают: истинно тайно лишь сказанное на ухо. Таковы люди, любезнейший. Канцелярия тебя не пощадит. Первым на тебя обрушится сам базилевс. Я же говорил тебе: он великий знаток канцелярий и блюститель формы. Что ж? Убедился? Удержал ли я тебя от греха самоубийства?

– Я подумаю...

– Как хочешь, как хочешь, но... – Поликарпос внушительно воздел к небу перст указующий, – что бы ты ни надумал, забудь о моей подписи и печати. Галеру тоже не дам. И ничего я от тебя не слыхал. Ни-че-го!

– Я не умею убедить тебя, но чувствую, что ты лишаешь меня заслуги перед империей, – пробормотал Склир. У него мелькнула мысль самому плыть в столицу. Нет, Поликарпос не даст галеры даже в Алустон...

– Ты упрям, будто женщина, – упрекнул Поликарпос. – Будь же мужчиной! Ты еще помолишься за Поликарпоса. Когда-либо, найдя случай, ты наедине откроешься базилевсу. И он наградит тебя.

– Когда? – с горечью спросил Склир, – К тому времени все забудут Ростислава. Кто награждает за давно прошедшее...

– Разное бывает, – ответил Поликарпос. – Не всегда дают награду даже за исполнение приказаний. А так, за сделанное по своей воле? – Не получив ответа, Правитель закончил: – Думаю, ты умолчишь. Тебя могут заподозрить, будто ты из корысти приписал своим действиям естественную смерть.

– Что же я получаю? – горестно спросил комес.



– Как что! Ты забыл нашу беседу перед твоим отъездом? – удивился Поликарпос. – Ты утверждал, что если империя и выгонит Ростислава из завоеванной им Таврии, то тебя и меня не найдут в числе победителей. Коль твое снадобье хорошо, ты можешь жить спокойно. И я тоже.

– И только...

– Как! Разве этого мало?! – воскликнул Поликарпос.

Склир встал, собираясь уходить. Поликарпос приподнялся со словами:

– Итак, тайна, тайна. Надеюсь, этот молодой человек, твой подчиненный, ничего не знает?

– Никто не знает. Я ограничился известием о том, что русский князь болен и умрет через семь дней, – ответил Склир, бессознательно смягчая.

– Великий бог! – Поликарпос подскочил с живостью толстого, но сильного телом человека. – Кого ты извещал?

– Встречавших на пристани.

– Но ты признался!

– Нет, я просто сказал то, что сказал.

Овладев собой, Поликарпос небрежно кивнул комесу. Конечно. Он, Правитель, покончил с этим человеком. Глупость – опаснейшая болезнь. Неизлечимая. Потратить столько времени, чтоб обуздать Склира, как дикую лошадь... Успеть в трудном деле – сбить со Склира задор. Ведь он в упоении мог бы просто приказать солдатам схватить Наместника, с ним шесть-семь сановников, объявить их изменниками и послать к базилевсу за наградой! Мало ли чего не совершали начальники войск, и многое сходило им с рук.

Было поздно. Придется отложить до утра быстрое следствие об откровениях этого Склира.

Дурак, дурак! Вот таких, таких любят женщины, подражая Венере, покровительнице страстей, избравшей тупицу Париса! Ай, ай! Нет сомненья – этот пустил в дело яд, и русские могут выместить свой гнев на неповинной провинции. Что делать?

Правитель пошел в детскую спальню. Пять кроваток. Старшему – десять, младшей – три года. Тихо. Светит лампада. Обе няньки мирно сопели у двери. Здесь привыкли к вечерним посещениям отца. Поликарпос обошел детей, крестя их, как обычно. Все дети – таврийцы, все они родились в херсонесском палатии.

Поликарпос женился поздно, перед назначением в Таврию. Пришла пора, нашлась хорошая невеста из семьи со связями в Палатии. Поликарпосу повезло: ему досталась рачительная хозяйка, заботливая мать, разумная женщина.

Не ее вина, что привычки мужской холостой жизни, да и в таком городе, как столица империи, не совмещаются с семейной жизнью. Были у Поликарпоса некие улады до Айше, было нечто и после измены сирийской прелестницы. Такое скрывают из чувства приличия. Жена, конечно, знала, знает и разумно помогает мужу притворным незнанием. Поликарпос уважал женщину, с которой его связал Бог.

Жена крепко спала, когда Поликарпос вошел в супружескую спальню. Шепча молитвы перед ликом святого, чье имя даровали ему при крещении, Поликарпос в тысячный раз постигал мудрость церковных канонов. Воистину – Богочеловек. Бог также и человек, иначе людям погибель, иначе ни им не понять Бога, ни Богу – их. «Пойми и прости во имя невинных детей!» – просил Поликарпос. Слезы жалости к себе, к детям, к людям, к отравленному русскому и, может быть, к самому отравителю катились по круглым щекам. Искренне, не для докладов. Хотелось быть добрым и чтобы другие стали добрыми. «Ах, если бы Склир похвастался либо его яд ослабел от хранения! Бог мой! Сделай!»

Бог послал Поликарпосу ночью крепкий сон и свежую голову утром. Он восстал от сна с ростками надежды. К полудню Правитель успел расспросить старого кентарха из Бухты Симво-

лов, нескольких встречавших Склира, кормчего галеры, ходившей в Тмутаракань, его помощника. И ростки увяли.

Склир не показывался. Забрав половину тмутараканских подарков, состоявших из икры, соленой и копченой рыбы, такой же дичины и небольшого количества выделанных мехов, комес засел у Айше. Поликарпос ревновал, ревновал по-настоящему, сам дивясь на себя. Он же, казалось, давно примирился с изменой сириянки. Почему же теперь?

В Херсонесе и в Бухте Символов стремительно распускались семена, посеянные комесом Склиром в минуты возвращения. И вероятно, не им одним. Ведь даже гребцы были свидетелями расправы с подарками на тмутараканской пристани.

Как все правящие, которые привыкли пользоваться соглядатаями, умея приучать их не добавлять собственных домыслов к чужим словам, Поликарпос давно не удивлялся меткости народной молвы. Есть много безымянных талантов, способных разгадывать намеки. Комес Склир не поминал о яде. Сogleдатаи передавали: слухи утверждают, что сам комес хвалился отравой.

Толпа презренна: спроси`те философов. Одни готовы ее уничтожить, другие хотят переделывать; такую, как есть, не приемлет никто. Однако ж слова, брошенные на поживу толпе, подобны незаконченной статуэтке, которая попала к скульптору. Доделает и найдет покупателя. Поликарпос не гнушался толпы.

И все же слух – только слух, а удачливые пророки, вопреки болтовне об их славолюбстве, в чем повинны и сами они, первыми огорчаются исполнением предсказаний – грозных предсказаний, хорошие редки.

На пятый день моряки с русских и греческих судов, прибывших из Тмутаракани, рассказывали о тяжелой болезни, внезапно постигшей князя Ростислава.

Епископ Таврийский по собственному почину и самолично отслужил в Херсонесском соборном храме молебен о здравии князя Ростислава. Имперское духовенство давно отучилось препираться со светской властью. Епископ не просил разрешения Правителя, за что тот был благодарен. Святитель знал не меньше Наместника, если не больше. Не нарушая тайны исповеди, духовники извещали владыку о страхах верующих. Умный человек, молебствуя о Ростиславе, пытался помазать елеем рану. Но и осуждал, ибо в нашем двойственном мире нельзя совершить что-то цельное, единое.

В тот же день два тмутараканских корабля, не закончив дел, отправились домой. Они спешили в Тмутаракань с грузом слухов, такого не понять разве младенцу.

К вечеру соглядатаи принесли слухи, на которых стояла печать Страха. Почерк его узнают по явным бессмыслицам.

Поликарпос не принадлежал к легкомысленным правителям, которые ждут от управляемых любви, преклонения перед своим гением. Ему и в голову не приходило задержать тмутараканцев. Безумно дергать за перетертый канат, пусть, коль придется, последние нити рвутся без твоей помощи. Херсонес же говорил о его приказе задержать русские корабли, но приказ-де опоздал. Из-за молебна за здравие Ростислава Правитель и епископ будто бы обменялись резкостью. Передавалось и что-то еще, подобное по нелепости. Поликарпос не обижался.

Одно – следить за мыслями подданных, другое – влиять на мысли, третье – разобщить подданных так, чтобы они, научившись молчать, разучились и думать. Поликарпос обладал первым. Не имел средств для второго. Был слишком трезв и умен, чтобы даже мечтать о третьем.

Лишний бы день без войны. Игра слов, измена смыслу: мирный день не может быть лишним.

Прошел седьмой день.

Прошел восьмой день, пока еще мирный.

Утром девятого дня старый кентарх из Бухты Символов прислал верхового: князь Ростислав скончался.

Свершилось.

Что свершилось? Реки назад потекли? Пресное стало соленым, а соленое – пресным? Умер сосед, русский князь, которому некоторые люди без внешних поводов навязывали враждебные Таврии замыслы.

Поликарпос был философом в иные минуты, когда его, как многих пятидесятилетних, посещало ощущение прозрения сути вещей. Его топили в слухах о страхе, обуявшем подданных. Он отбивался. Толчок дал кентарх из Бухты Символов. Уж коль этот старый и – Поликарпос знал его много лет – глупый человек счел смерть Ростислава чрезвычайнейшим событием – значит, так оно и есть.

Власть необходима. Даже когда она призрак. Ибо призраки, так же как сети, пашни, корабли, создаются волей людей, следовательно нужны им. Власть обязана проявлять себя, и Поликарпос собрал таврийский синклит – провинциальных сановников.

Епископ со своим викарием, епарх – градоначальник Херсонеса, управляющий пошлинами и налогами, начальник флота, главный нотариус, главный секретарий, начальник почт и дорог. Епарх Бухты Символов опередил вызов. Он рассказал: женщина, которую в Тмутаракани звали Жар-Птицей, закололась на теле Ростислава.

Комес Склир явился последним в сопровождении молодого кентарха, своего спутника в тмутараканской поездке. Комес казался утомленным. Он рассеянно сослался на болезнь, из-за которой не показывался несколько дней.

Все, кому по должности полагалось высказывать мнение, советовали умеренность: в Тмутаракани междувластье, русские беспокоины. Меры предосторожности нужны, но втайне, дабы русские не сочли такое за вызов.

В Херсонесе и в Бухте Символов русские живут отдельными улицами под управлением собственных старейшин. Епархи посетят русских, выразив соболезнования.

Епископ заявил о взносе за счет епископии вклада в соборный храм на поминание души князя Ростислава. Он предложил послать такой же вклад в тмутараканский храм, а также поднести этому храму четыре иконы, дарохранильницу, чаши, ризы из кладовой Херсонесского собора. Отец викарий с клириками может немедля отбыть в Тмутаракань. Синклит дружно благодарил преосвященного, решили к вечеру снарядить лучшую галеру с отменными гребцами.

Комес Склир сообщил усталым голосом: недостаточное числом войско будет исправно нести службу. Его ни о чем не спрашивали, от него сторонились с подчеркнутым отчуждением.

Секретарий составил запись совещания синклита, пользуясь установленной формой. Как многие, эта запись не давала посторонним даже подобия ключа к событиям. Свидетельствовало, что должностные лица исправно служили империи, блюдя законы.

Синклит расходился под печальный звон колоколов. Во всех храмах Херсонеса служили панихиды по благоверному князе, который отошел в мир, где нет ни печали, ни воздыханий, но жизнь вечная.

Склир рассеянно спускался с лестницы херсонесского палатия. Не то у него получилось, не так. Он не раскаивался, он был опустошен. Закрывшись у Айше, он превратил первые дни возвращения в пьяную оргию. Не стало сил, и уже трое суток Склир был трезв. Не следовало браться не за свое дело.

Не желание выслужиться и не польза империи двигали Склиром, а завистливая ревность к Ростиславу. Константин Склир был еще далек от конечного вывода. Он еще брел по лабиринту, из которого не было иного выхода. Пока завиток, из которого он выбирался к дальнейшему,

мог назваться так: не следовало ли, бросив империю, пристать к Ростиславу? Бессмыслица. Он возился с ней.

Служба в соборе окончилась. На площадь выливалась толпа, смешиваясь с теми, кто, не протиснувшись в храм, теснился на паперти: небывалое дело! Склир, занятый своим, взял правее.

– Убийца! Убийца! – кричали женщины.

Очнувшись, комес не сразу понял, что оскорбление относится к нему. На него указывали. Толпа надвинулась. Буйный люд портового города, решительный, скорый на руку.

– Отравитель! Каин! Бей его! Из-за тебя всем погибать! Иуда! Колдун!

Вырвавшись, Склир прислонился к стене и выхватил меч. Молодой кентарх, товарищ, которому Айше нашла подружку, оказался рядом. Толпа отхлынула перед обнаженными клинками.

– Прочь! Разойдитесь! – закричал Склир. Его голос погас в гневном реве. «А! Два меча справятся с чернью!» Склир шагнул вперед. Первый камень ударил в рот.

Задышавшись, палатийский слуга выкрикивал перед Правителем:

– Побили... камнями... обоих... сразу... – И, отдышавшись, рассказал, что духовные поспешили из собора, но все было кончено вмиг...

– Суд Божий! – сорвалось у Поликарпоса.

Если эти слова и дошли до Канцелярии, то их не поставили в вину херсонесскому Правителю. Как не поставили в вину епископу отказ предать тело Склира освященной земле. Ибо этот человек умер без исповеди, без причастия, под тяготевшим над ним обвинением в отравлении.

Война с Тмутараканью не состоялась.

Как-то Айше сказала своему милому Поликарпосу:

– Разве справедливо, когда ничтожный человек лишает жизни большого человека? Почему боги позволяют?

– Пути Бога неведомы для людей. Камень на дороге может изменить судьбу империи. Это очень старая поговорка. Ты понимаешь ее?

– Нет, – ответила Айше.

– Я тоже не понимаю, – сказал Правитель, – однако же это правда, а я уже стар.

– Нет, – сказала Айше, – ты добрый и, как все, считаешь женщин глупыми.

## Глава вторая

### Реки возвращаются, чтоб течь опять

Как многие другие пришедшие из Азии воинственные племена, истощились и печенеги, многократно отбитые и побежденные Русью при Ярославе Владимировиче. Крупное сито войны, отбирая сильных и смелых из первых рядов, отсеивает в жизнь мелких, юрких.

В Диких полях приподнялись печенежские полуданники, полусоюзники, известные русским под кличками черных клобуков, турпеев, торков.

Полное истребление их было для Руси делом непосильным, невыполнимым, невозможным. И даже дурным. В те же годы, после тяжелых неудач армий Восточной империи в боях с вторгшимися через Дунай печенегами, имперские послы сумели осадить печенегов на землю, отведя им уголья между нижним течением Дуная и морем. Там же, за шесть или семь веков до печенегов, было осаждено появившееся неизвестно откуда племя, не оставившее по себе ничего, кроме собственного имени – бессы.

Объясняя подданным неудачи в борьбе с печенегами, объясняя мир с ними, купленный ценой уступки куска имперской земли, Палатий указывал: Богу не угодно, чтобы был уничтожен один из созданных им народов.

В ряду беспощаднейших истреблений своих и чужих, которыми империя себя постоянно позорила, заявление о милости к непобежденным звучало ложью: словами спасали лицо. Но было в нем также и раздумье, и трезвая мысль.

Через несколько лет после смерти Ярослава Дикое поле опять зашевелилось. Мелкие, почти не замеченные набеги сменились тягой к более крупным предприятиям. В Степи нашлись вожди, подросла молодежь, забывшая отцовские раны, размножились кони. В 1059 году несколько тысяч конных с днепровского левобережья были замечены за рекой Орелью. Получая подкрепления с правобережья, кочевники поднимались вверх. Русское население бежало в крепости. Степь обтекала их, не тратя времени на осаду. Князь Всеволод Ярославич вышел из Переяславля, встретился с врагом под крепостью Воином, около устья реки Сулы, разбил и разогнал нападавших.

В следующем году, в 1060-м, дождавшись конца полевых работ, все трое Ярославичей – Изяслав Киевский, Святослав Черниговский, Всеволод Переяславльский – в союзе со Всеволодом Брячиславичем Полоцким решились почистить Степь. Племя торков заступало место печенегов. Общим походом хотели сломить торков.

Русская конница со своими обозами, с пешим войском на телегах шла обоими берегами Днепра. По Днепру пешее войско плыло на лодьях с запасами для всех.

Война была хорошо задумана, велась упорно до глубокой зимы. Вырвались три орды. Бросив слабых, имущество, скот и семьи, они навсегда покинули соседство с Русью. На восток дороги были отсечены, и торки пустились на запад. Уцелевшие переправились через Дунай.

Много степняков, выброшенных из зимовий, погибло от зимних холодов, от болезней. Многие были убиты, но еще больше попало в плен. Пленников отвели на Русь. Здесь они были осажены на окраинных землях, по реке Роси на правом берегу Днепра, а на левом – в междуречье Трубежа и Супоя, к северу от Переяславля. Так степнякам было суждено обрусеть: стали они жить оседло, завелись у них города, обучились возделывать землю, занялись и ремеслами и усилили Русь.

Кочевник искал свободной земли, чтобы пасти скотину, и оседлых соседей – для грабежа. Избавиться от кочевника удавалось, убив его или сделав оседлым. Бились в полную силу. В скобках замечу: значение изношенных дешевыми книжниками слов «без пощады!» ныне стало доступным только тому, кто взял смелость понять собственный опыт войны. Зато в те поры,

хоть и тогда слово «свобода» каждый постигал тоже по-своему, было необъятно много свободной, порожней земли. И было где встретиться мирно, не наступая другому на ногу...

Русь шла на свободные земли, чтобы на них осесть и жить, добывая свой хлеб из земли. Так бери же, населяй, обрабатывай! Что мешает?

Время мешало. Оно давало свои сроки, а славяно-русское племя плодилось в свои, не поспевая, как видно, за скорым бегом небесных светил, безразлично порождающих время.

Деревянный дом под соломенной крышей ставят за несколько дней. Достал мешок семян – и весь следующий год будешь сыт. Цыплят жди до осени. За конским приплодом будешь ходить три года, прежде чем лошадь пойдет под седло и в оглобли. Яблоч от посаженной тобой яблони жди двадцать лет. Твой сад унаследуют дети, вместе с которыми растет медленное дерево. Быстры одни сорняки.

Да и место тоже было нелегкое, место тоже мешало. Широкий путь между уральской горно-лесистой стеной и Каспийским морем.

Тут не навесишь ворот, подобных Дербенту, которым то вместе, то порознь Восточная империя и персы запирали узкую тропу по западному берегу Каспийского моря.

От Сотворенья мира Запад с Востоком состязались через узкую полосу проливов между Средиземным морем и Евксинским Понтом, названным впоследствии Русским морем, Черным морем.

Боролись Запад с Востоком и к северу от Евксинского Понта.

Но что там происходило? Как? Речь идет о событиях, удаленных на полторы – на две тысячи лет. В русских лесах и полях глух глагол прошлого. Он в землю ушел с головой, землею засыпался, и кладовые его еще не раскопаны.

Зато на юге борьба совершалась гласно и явно, хотя бы с осады Трои. Эллины завещали тяжбу единой Римской империи. В наследство от них она досталась и Восточной империи.

Однажды эта наследница тысячелетней борьбы выиграла. Базилевс Ираклий заставил рухнуть силу Ирана. Вскоре увидели, что миды – персы, вечные враги, были стенкой между Востоком и Западом.

Стенка упала. Восточной империи не помогли единовластие, единоверие. Не спасла наилучшая для тех времен и для многих последующих система управления государством. Ведь все было будто считано-пересчитано, писано-перезаписано, перевязано законами, указами, постановлениями. Будто бы нигде, как в Восточной империи, не было столько грамотных, обученных науке управления. Разве только одна Поднебесная империя на самом дальнем восточном краю мира могла бы состязаться с империей базилевсов.

Подданные базилевсов умели делать вещи, несравненные по красоте, а также по удобству и прочности. Строили отлично хорошо здания, пристани, дороги. И умели считать.

Не сосчитали лишь, сколько труда, искусства, науки вложено было в сотворенье единовластия, единоверия. Что считать? Сказано ведь: государство, разделившееся внутри себя, погибнет.

Но не сказано – как соединить и чем. В изысканиях способов исчахли лучшие умы, а худшие выжили. Вольность и волю душили по-научному, в зародыше: избивали подданных сто-кратно более, чем уложили в войнах. Неустанно работала трость Фразибула<sup>5</sup>, уничтожая коло-сья, которые, естественно, по природе своей поднимались выше других, не ведая, что нарушении общего строя они сами себе выносят смертный приговор: для блага других, коротеньких, одинаковых.

---

<sup>5</sup> Коринфский тиран Периандр (ум. 585 до н. э.) послал спросить у своего друга милетского тирана Фразибула о лучших способах правления. Фразибул на глазах у посла тростью долго сбивал в поле колосья, поднявшиеся выше других, и отпустил посла, ничего не сказав.

Упреки прошлому так же тщетны, как сожаления о золотом веке, которого не было. Но воздержаться от них умели одни евнухи, излюбленные базилевсами.

От годов появления половцев в ничейном Диком поле не столь было удалено время, когда на развалинах бывшей Восточной империи Турок напишет, если удостоит: разрушено грубым насилием оружия, и ничем более.

Скажут – Восточная империя погибла, разделившись внутри себя. Да, но разделило ее усиленное объединение.

Так разделило, что не помогла ей и сторонняя помощь, с запада. А ей помогали! Пусть плохо, пусть званые и незваные помощники сами не понимали, для чего идут – спасать ли либо устраивать собственные дела?

Впрочем, бескорыстной помощи не бывает. Бойся спасителя, вопиющего о своем бескорыстии! Неразумно упрекать западных помощников Восточной империи. Разве лишь в том, что они не сумели помочь ни себе, ни империи. Пусть лгали знамена – Европа щедро устилала сотнями тысяч тел поля малоазийских сражений. Прошлого не изменить и великим богам. Кости павших – не шахматные фигурки. При всем желании книжников их вновь не расставишь. Игра сыграна, ставок более нет.

Восток бил Русь крыльями, клювом, когтями. Русь отступала, отбивалась на опушках своих лесов и, бросившись в Степь, ломала азиатские крылья.

Никто с запада не приходил помогать Руси отбиваться. Повернется Русь лицом на восток, запад ее бьет в спину. Отмахнется Русь – с востока ударят. Неужели же русское счастье было в том, что не находилось помощников? Правда ли, что плата за помощь бывает горше беды, от которой спасали?

Подметая Степь, братья Ярославичи трудились по совету своих дружин, по согласию русских пойти в поход после уборки хлебов.

Хорошо бы занять Дикое поле русскими людьми. Построить города-крепости. Наполнятся пустые места поселенцами. Пустят они корни и сами себя защитят.

Где взять людей? Свои глубинные места лежали впусе на девять десятых. Против Степи насыпали земляные валы, ставили земляные крепости. Озирая сотни верст доживших до наших лет укреплений, удивляешься: откуда руки брались при тогдашнем безлюдье?! Такое могли совершать только доброй волей, только понимание дела удерживало заступ в руках. Насильно такого не сделаешь!

На старые наши могилы просится справедливая, простая надпись: они сделали все, что могли. Дай бог и другим такую же память!

Года не прошло, как с миром попросились на Русь, чтобы пристать к своим, торки, бежавшие на восток, к Дону и за Дон от русского войска. Через Волгу переправлялись новые пришельцы с востока. Такие же кочевники, близкие торкам по речи, одинаковые по привычкам. Но более страшные, чем русские. Кочевнику другой кочевник – такая же добыча, как оседлый.

Новые пришельцы звались кипчаками или кыпчаками, они же узы, куманы, без креста окрещенные на Руси половцами. Какие-то передовые племена их обильного людьми и по-кочевому медленного нашествия вскоре появились вблизи Переяславльского княжества. Всеволод Ярославич, по совету дружины, поспешил встретить незваных гостей. Кони у него были добрые, всадникам – цены нет, если брать по одному. Вместе же оказалось их мало. Так мало, что половцы опрокинули переяславльского князя. Спасибо, выручили кони, недаром кормленные овсом да ячменем. Пришлось Всеволоду сесть за крепкие стены. Половцы пограбили долины Ворсклы и Сулы. Вернулись они из удачной разведки, выгнав, куда ходить за добычей. Места им понравились. Они и у себя занимались тем же, в привольях между Аральским и Каспийским морями. Но там пески, пустыни, ходи от колодца к колодцу. Здесь – рай. Доподлинный,

обещанный храбрым: сладкую воду пей, не считая глотков, и сладкой травы богатство. Так объясняли несколько половцев, схваченных русскими в плен по вине своей дерзкой погони.

Наибольшей же половецкой добычей после легкой победы была опасная для русских уверенность в своем преимуществе над местными оседлыми.

Часть половцев, сколько – сами не считали, потянулась на запад. По следам печенегов они переправились через Дунай. В империи новые гости показали себя, как свои предшественники. Другие остались близ Руси, деля между своими родами сочные угоды. Но не в угодах лишь дело. Кочевник любит простор.

Кочевник говорит:

– Моим глазам больно, когда я вижу вдали чужие юрты.

Редкий оседлый поймет такое.

И еще есть у них поговорка:

«Когда напали на юрту твоего отца, соединишь с нападшими и грабь вместе с ними».

Извращенье чувств? Нет, поэтическое преувеличение. А любовь к простору – проза, потребность. Тесно вольному степняку видеть на земном окоме юрты людей даже своего языка.

Разрастаясь, село высыпает выселки. Множась в числе, делится и кочевой род. С той разницей против оседлых, что вскоре у близких родственников, соседей по кочевью, свои же братья отобьют табун, раскроив несколько черепов. Греха в подобном кочевник не видит. Удалство, забава. Добро – угнать лошадей у соседа. Зло – когда твоих лошадей угонит сосед. Грабить чужих – добродетель. Кочевник вовсе не зол. Он таков от рождения, переубедить его можно лишь силой.

До самого недавнего времени русские соседствовали с кочевниками, которые пополняли свои достатки набегами на Русь. Русские теснили соседа-грабителя, побеждали, осаживали на землю.

Забывчивы мы. В близкие годы – ста лет еще не истекло, при дедах, чьи внуки живут сегодня, – наши среднеазиатские соседи набегали к нам за добычей и за людьми.

Пока половцы усаживались в Диком поле, князь Всеслав Брячиславич, радея своему Полоцкому княжеству, задумал добавить к нему Псковскую землю. Псков не дался Всеславу. В следующем году Всеслав врасплох накрыл Новгород. И в город вошел, и на стол хотел сесть, и сила была его в короткие три дня. Новгородцы отказались принять Всеслава. Понимая, что против воли Господина Великого князю в городе и в землях его не усидеть, Всеслав ушел. Не с пустыми руками: с новгородской Софии снял колокол, прихватил дорогой церковной утвари, погрузил и другого добра. Вывел пленников, дабы пополнить жителями свою землю, и, как водится – а у Всеслава особенно, – пленников уговаривал, ласкал, отводил им хорошие угоды. Иначе сбегут: не собака – на цепь не посадишь; не скотина – пастухов не приставишь.

Полоцкая земля, она же земля кривичей, была в стороне: во время Святослава Игорича она осталась сама по себе, в своем укладе, признавая князей собственных, кривских – кривичских. Святослав, увлеченный дальними замыслами, не оставил бы в покое близких кривичей, найдись для них время. Но ему довелось рано уйти из Руси и из жизни, оставив малолетнего сына. Достигнув зрелости, князь Владимир Святославич подтянул к Руси Кривскую землю. Полоцкий князь был убит в битве, Владимир взял за себя его дочь Рогнеду; родившегося от этого брака Изяслава кривичи-полочане приняли своим, природным князем по обычаю. Киевский князь Ярослав Владимирович признал за Брячиславом Изяславичем право наследовать Полоцк после отца его, Изяслава, и жил с Брячиславом, внуком Владимира Святославича, в мире. В Киеве Брячислав владел собственным подворьем, где и жила, навещая князя Ярослава. Между собой они сразились однажды, когда Брячислав напал на новгородские земли, взял много добычи, вывел много пленных. На обратном пути к Полоцку Ярослав пересек путь



Брячиславу, отбил у него пленных, отнял добычу. Вскоре Брячислав сумел доказать Ярославу старинные права кривичей на города Витебск и Усвят. Города эти и собой до`роги, и дорогой, которая от Витебска близка, а через Усвят проходит – древнейший привычный волок из реки Каспли в реку Ловать, горка, через которую переваливает водяной путь из варяг в греки.

Помирившись, Брячислав больше не досаждал Ярославу. По его смерти Ярослав признал Полоцкую землю за Всеславом Брячиславичем, и сын сел на отцовский стол, будучи двадцати лет от роду. При своей жизни указав сыновьям, кому где сидеть, Ярослав исключил Полоцкую землю из раздела. Следовал он обычаю считать ее отчиной потомков Изяслава Владимировича.

Кривичам не приходилось ведаться со Степью, у них были свои беспокойные соседи – литовцы. Литовцев они и отталкивали, и толкали. Единственный раз кривичи ходили в Степь, когда братья Ярославичи кончали с торками. Вернувшись домой, Всеслава дружина и кривские ратники единодушно решили, что в Степи им нечего делать. А вот Псков, Новгород были бы сладки.

Князь Всеслав вынес из совместного с Ярославичами похода сомнение в прочности дружбы между тремя братьями. Старший брат Изяслав уступал среднему Святославу в силе воле, в решительности, и Святослав не щадил старшего ни словом, ни делом: походом распоряжался он. Изяславу бы просто терпеть, а он еще жаловался. Третий брат, Всеволод, самый из всех троих живой умом, начитанный, знающий, оглядывался на старших, стараясь быть с обоими в дружбе, и только.

Всеслав не удивился, узнав, как печенежские сменщики – половцы побили Всеволода. Решив, что Ярославичи будут отныне связаны половцами, Всеслав попытался исполнить желание Кривской земли захватом Пскова и Новгорода. Дурного не видел: был он со своими кривичами не чужой, а свой, русский, вреда Пскову с Новгородом не будет, польза будет псковичам с новгородцами. Ведь и у них тот же опасный сосед – литовцы.

Всеслав знал половцев по рассказам достойных доверия очевидцев, оценивших половецкую силу выше печенежской. Правильно он понял и Ярославичей. Все, что можно увидеть и взвесить, он увидел и взвесил, не ошибаясь. Впоследствии подтвердилась наибольшая часть.

Но, как все люди, какого бы они ни родились ума, Всеслав не мог счесть и взвесить того, чего не было, – будущего времени. Завтрашний день берет в свою руку те же силы, какие были сегодня. Но расставляет их в иных сочетаньях. Да еще говорит одному: постой-ка, ты вчера вырос достаточно, сейчас пусть другой подрастет.

От лошадей рождаются лошади, от ржи – рожь. Можно счесть, сколько камня и бревен нужно на дом, сколько дней придется затратить на дорогу. Но не все понимают, что подобные расчеты непригодны для измерения будущего людей.

Кривский край лесной, а воды в нем хватит на доброе море. На гривах стоят сосновые боры, дерево могучее, ровное. Пониже, на суглинках, леса смешанные – ель с осиною, березой, ольхой. Это – обрамление воды, или вода – обрамление лесов. Озер, болот, рек, ручьев так много, что прямых путей нет даже для водяных птиц, которые любят тянуть над водой.

Уклон земли мал, поэтому реки текут медленно, вилия в камышовых дебрях. Осенью сгинет божья кара – комар с мошкой. Водяная птица, готовясь к отлету, молчит, как молчит местная. Если кто вскрикнет – то от испуга. В полном молчании слышен только шелест подсохших листьев камышей над прозрачными, по-осеннему черными водами. Голос кривской осени неопишуем – его нужно услышать.

Возражают – все равно постарайся, недостающее можно пополнить воображением. Камыш, шелест листьев – слышали.

А кто запирает дороги для влаги в теле тростинки? Как получается, что, стоя в воде, тростинка отказывает в питье собственным листьям, и они иссыхают, склонившись над водой, как трава от летнего зноя в тмутараканской степи? Где ж справедливость? Ответят – ста-

рость, время, дескать, пришло умирать, дать дорогу другим, возродиться, вновь родиться... Что листья, не люди! Впрочем, часто и не отличишь людей от листьев.

Кривич не жалец без своей земли. Отлучаясь, берет щепотку с собой. Иначе хворь прикинется, за ней и смерть пожалует. Хлеб нужно печь круглым, как солнце. Обычай. Повелось от первого пахаря, когда святые Микола с Юрием еще не ходили по Кривской земле, как ныне ходят. На свадьбе священник водит брачащихся по солнцу. Против солнца нельзя сотворять таинство – нечисть порадует, и только.

Тайной силы, чистой и нечистой, в Кривской земле больше, чем людской, если людей счастье по душам, а нечисть по головам – души у них нет.

Они везде водятся, и нечего кривичам перед другими землями выхваляться, нашли чем! Верно, но в Кривской земле им удобнее, есть где прятаться. Они не любят света, исчезают, коль человек посмотрит прямо на них.

Надо знать. Тогда одни тебе помогут, а другие зла не причинят. Домашний огонь береги. Истопившись, горячие угли сгреби и присыпь золой, чтоб Господин огонь дожил до другого дня. Сосед придет занять огня – зря не давай, попроси, чтобы согласился он поделиться. Пуще всего не плюнь в огонь. Переходя в новый дом, бери огонь из старого, иначе счастье потеряешь. Весной не забудь сделать домашнему огню праздник: побели печь, укрась зеленью и покорми огонь салом и мясом.

В доме живет хатник, домовый, избяной – зови как вздумаешь, но не обижай. Строя новый дом, под угол положи петушью голову. На ворота либо под поветь положи хлеб-соль с молитвой: «Хозяин честной, хозяйка честная, хлеб-соль примите, коль в чем согрубил, не обессудьте, простите, мое именье и надворья сберегите».

В заговины, в день поминовения усопших, приглашайте к столу домовых господ. Явно придут – не пугайтесь, зла не сделают. Не забывайте приветить хлебника с гуменником – они ночами за вас подметают, прибирают. Домовой господин о беде предупредит и беду отведет.

Четырежды в год справляйте дни-деды. Девять разных блюд готовьте, а больше приготовите – лучше. От каждого блюда сам хозяин дома на стол отложит по три куска, по три ложки. Стол на ночь не убирайте – деда прилетают кормиться.

В лесу, в болотах живут лесовики, водяные, лихорадки. Они, боясь заклятья, бегут от человека. Остерегись, головы не теряя, и они над тобой ничего не сделают. Еще есть бесы, живут в болотах, там и плодятся. Сатана-дьявол, Божий враг и человекогубец, хотел от латинян к русским пройти. Разбежится, гремя копытами, сверкая молниями, и рассыплется пылью. Не выходит во весь рост идти. Лез хитростью, прикрывшись гадючим выползком, вороной оборачивался, в воробьиный зоб прятался, пробрался маленьким и таким остался. Пугает трусливых, глупых обманывает. Бесы с бесенятами ползают по дну из болот в озера, пробираются в реки. Но над самой водой у них силы нет, вода от древности была свята, святой осталась. Пей, произнеси старинный заговор, либо помяни имя Моисея-пророка.

Сильней всех бесов, лесовиков, водяных, домовых те люди, которые знают. Такие многое могут. Один из них вздумал жениться, но соседа, который знал, не пригласил. Тот обиделся и всех поезжан в волков превратил.

Жених махнул рукавом, и поезжане свой вид обрели, а у соседа на лбу рога выросли. Чаровник-ведун умеет любой вид принять. Найдя в лесу особенный пенёк, схватится за него зубами, перекинется через голову и побежит зверем, птицей полетит – как захочет.

Князь Всеслав знал. При нем ни одному ведуну не было хода. Завистники говорили, что и рожден князь от волхвования, и знаки носит на теле. Кривичи не верили. Всеслав родился честно от честных родителей, телесной силой, красотой, умом и храбростью его Бог наградил. И кривичи своего князя держались.

За покушение на Псков и на Новгород братья Ярославичи разорили кривский город Менск<sup>6</sup>. Всеслав был побежден в битве, но взять его самого Ярославичи не сумели и дальше в Полоцкую землю не пошли, не стали ее захватывать, так как не было согласия между Изяславом и Святославом. Потому-то и было князю Всеславу в несчастье – счастье.

До лета Всеслав пересылался послами с Ярославичами и приехал к ним в полевой лагерь, чтобы мир заключить. Но во время переговоров Всеслава с двумя уже взрослыми сыновьями схватили, нарушив обещание. Князь Изяслав заключил пленников в поруб – тюрьму, а Полоцкая земля пошла под киевскую руку.

Минуло семь лет от первого половецкого набега, когда князь Всеволод потерпел поражение от новых степных соседей. Месяца через два после своего пленения князь Всеслав, глядя на небо через узенькое окошко тюрьмы – приходилось оно, окошко, чуть выше земли, – узнал важную весть: половцы большим войском вошли на Русь, переправились через Ворсклу, и, думать надо, сегодня уже близки они к Переяславлю.

Среди киевлян были у князя Всеслава и доброжелатели, осуждавшие ненужную для Киева распрю между ним и Ярославичами, и просто люди, которые не видели в полоцком князе врага. В таких беда, постигшая Всеслава, вызвала к нему сочувствие. Подойдут к окну, присядут на корточки, окликнут узника и беседуют.

Досадно! Что б половцам зашевелиться в прошлом году – дела Всеслава обернулись бы иначе. А сейчас сиди, жди, через окно разговаривай, а выхода нет, сторожат, не пустят.

Собрались киевские городские и сельские полки, с ними и с дружиной князь Изяслав переправился на левый берег Днепра, где на реке Альте, верстах в пятидесяти от Киева, соединился с братьями.

Вновь поле осталось за половцами. Степные наездники и стрелки бились смело, без порядка, но и у русских порядка было не больше. Половцы вцепились в русский обоз, увлеклись дележом, дав русским уйти, не преследуя их. Князья Изяслав и Всеволод вернулись в Киев. Князь Святослав, чуя, что вместе с братьями не быть удаче, крепко поссорился с Изяславом, возложив всю вину на него, и ушел в Чернигов оборонять свой город.

В Киеве возвращенье растрепанных полков подняло всех на ноги. Гнев веча обрушился на тысяцкого Коснячка, который был обязан собрать ратников и за них отвечал перед вечем. Коснячок не показался. Вместо того чтобы ответ держать – прячется!

А половцы ходят по левому берегу и завтра сюда переправятся. Имевшие оружие требовали опять идти в поход. Другие кричали, чтобы Коснячок и князь Изяслав дали им оружие, они от своих не отстанут.

Советчиков, предлагавших не спешить, выждать, подумать, обсудить, – такие всегда находятся – слушать не стали. Всем вечем снизу, где на торгу бывало вече, пошли в гору, на Коснячков двор. Коснячка там не нашли. Шуму прибавилось. По обычаю, по старинной привычке, нужно было порешить дело с тысяцким. Для выбора нового следует скинуть старого. Кричали – Коснячок прячется у князя Изяслава. Нашлись видоки. Видели не видели – говорили: там Коснячок. Против князя Изяслава кричали – стали кричать еще сильнее. Пошли на княжой двор.

По дороге остановились у пустого Брячиславова двора, поминая добром его сына, заключенного князя Всеслава. Против него зла не было. Зло нарастало против князя Изяслава. С угрозами повалили к княжому двору. Тем временем лихие головы ринулись разбивать городской поруб – тюрьму.

Более дальновидные Изяславовы дружинники вспомнили о князе Всеславе раньше, чем имя его вслух помянули киевляне. Когда кое-кто из своих, опередив вече, прибежали предупредить князя Изяслава, их слова упали в готовые уши. Бояре советовали Изяславу послать

---

<sup>6</sup> Ныне – Минск, прежде Менск или Менеск, писался через «ять», от слов «мена», «менять».

людей, чтобы покрепче стеречь Всеслава. Другие настаивали – совсем нужно сжить со света опасного полочанина. Подозвать к окошку да и ударить копьём либо стрелой. Храбрецов, кто вошел бы в поруб и порешил безоружного князя Всеслава без хитрости, не нашлось. Как бы в смертной крайности он волком не обернулся! А окно-то узкое, в него и волком не просунуться.

Не желая брать на душу грех братоубийства, Изяслав отмахнулся от советчиков: «Я вам не Святополк Окаянный». Из высокого окна он переговаривался с нахлынувшими киевлянами. Просил успокоиться. Коснячок где – не знает, а он сам, князь, с дружиной думает и объявит, что порешат к общей пользе.

Шума много, голоса не слышно, дела не видно. Навалились вечники, которые успели с маху разбить городской поруб. Зовут – всем идти выпускать князя Всеслава на волю, а с этим князем Изяславом Киеву более не о чем разговаривать! И опустела улица перед княжим двором.

Будь у русских князей обычай жить внутри городов в собственных крепких замках, князь Изяслав, по своему нерешительному нраву, заперся бы с дружиной, отсиживаясь в ожидании, пока киевляне не остынут. Да и неожиданный его соперник – узник Всеслав с ним был бы в темнице, каких в западных замках было достаточно, а не в другом месте города, в тюрьме, где каждый мог к окну подойти.

У Изяслава был княжой двор. Без высоких башен, перевязанных в единое целое толстыми стенами, без рвов, без боевых машин, без припасов на время каждодневно ожидаемого и ежедневно возможного восстания подданных. Князья жили в городах на таких же усадьбах, как остальные жители. С той разницей, что за обычным забором было больше строений – хозяйство широкое, едоков много, и дружина, и гости.

Предложил бы Всеслав освобожденное им место в порубе Изяславу? Может быть, чаровник сумел бы сотворить нечто куда более умное, чем сажанье в порубы, или еще более жестокую расправу с попавшей в его руки живой добычей. Князья Изяслав и Всеволод не стали гадать о превратностях судьбы. Поспешно похватав, что попало под руку из более ценного, братья-князья со своими дружинниками попрыгали в седла и пустились прочь, оставив все двери открытыми.

Еще раньше многие дружинники разошлись по своим дворам, ибо князь Изяслав ничего от них не требовал и приказывать не собирался. Беглецов провожали те из Изяславовой дружины, кто не владел дворами в Киеве, и Всеволодовы дружинники, которые, как люди чужие для Киева, другого пути не имели. Князь Изяслав удалялся, соблюдая достоинство, лошади шли шагом: не бегство – исход. Для киевлян Изяслав Ярославич стал прошлым днем. Перехватывать его не подумали, тем более не собирались гнаться.

Добыв князя Всеслава из поруба, киевское вече привело его на княжой двор и посадило на стол. Стал полоцкий князь также киевским князем. Княжое имущество досталось ему малость ощипаным.

Кошка за окошко – мышка на лавку: не успел князь Изяслав скрыться из виду, как пошли люди через открытые двери. Мало – разбили двери в подвалы, где хранится добро не от одних воров, но и от огня-разбойника.

Много золота, серебра, дорогих вещей, одежды пошло по расчетливо-буйным рукам. Не перечислишь всего – киевские князья на недостатки не жаловались.

Половцев, из-за которых все получилось, забыли среди бурных событий киевской смуты. Необычайное дело – впервые киевляне выгнали своего князя. Князь Всеслав, кажется, один помнил о половцах. Пытаясь подобрать поводья, он готовился к походу крепко, по-настоящему. Нежданно-негаданно он стал в ответе за чужие ему южные княжества. Понимал хорошо: броситься очертя голову и подставить Русь под новый разгром нельзя. Особенно ему – чужаку.

Половцы шарили по левобережью, визнавая новые для них места. Кто успел, попрятался от степняков в крепостях. Давали убежища леса, которых в те годы было много на ныне давно

облысевших местах. Находили приют в камышовых болотах, на помостах, опертых на сваи, вбитые в дно. В летнее время здесь убежища неприступные и невидимые. Камыши стоят выше роста человека, не заглянешь через них. Ночью можно разводить огонь – пламя не проглядывает. Пищу нельзя варить днем – выдаст дым.

Меняя направления, не спеша, половцы двигались на север. Переправившись через Сейм, они одолели Десну у крепости Хороборь и отсюда повернули на запад, целясь охватить Чернигов. Успев вызнать значение Чернигова, половцы решили покончить с главным городом и главным в их понятии князем заднепровской Руси.

С поражения под Альтой Святослав вернулся в крови – не в своей, в половецкой. Он был богатырь и, побежденный, успел все ж потешиться боем. Отходил он от Альты к Чернигову, широко раскинув оставшихся с ним, чтоб оповещать своих о беде, чтоб брать с собой мужчин, годных к бою. К приходу половцев Святослав успел собрать полки. Всех, кто был послабее, Святослав оставил для защиты Чернигова, а в поле вывел три тысячи ратных.

Однажды обвинив Изяслава за поражение на Альте, Святослав не возвращался к неудаче. Был он скуп на слова, не любил обнадеживать людей красными речами. Идя навстречу половцам, он, обращаясь к своему малочисленному войску, несколько раз повторил: «Нам некуда больше деваться от половцев, кроме как биться». Обоза Святослав не взял – враг был близко.

Половцы шли двенадцатью тысячами, как Святослав разведal. В двадцати пяти верстах к северо-востоку от Чернигова противники заметили один другого.

Здесь протекает приток Десны, не широкий, но глубокий Снов. Берега его болотисты, места низкие, и Снов течет медленно. Крепость Сновск, стоявшая близ места встречи, была невелика, но с высокими валами и стенами на валах. Ров был доверху полон. Здесь земля водообильна, колодцы роют мелкие, а не вычерпать за целый день.

Указывая на тесный Сновск, Святослав предупреждал: «На эти стены не надейтесь. Не пустят. Туда столько набилось бежавшего люда, что и в улицах места нет. Стойма стоят, стойма и спят».

Хотя до́ма и стены помогают, но дураков и в алтаре быют. Черниговцам деваться было некуда, храбрые расхрабрились, а трусливые от страха о страхе забыли. Князь Святослав помог верным расчетом. Он отступил, показывая половцам свою слабость, а на самом деле поставил полк, защитив его заболоченными низинами, которые издали казались ровным лугом, и дал половцам переправиться через Снов без помехи с русской стороны.

Половцы развернулись, как привыкли, полагаясь на свою главную силу – легконогих конных стрелков. Болотины помешали им охватить русских. Ближнего боя с русскими не выдерживали хозары и печенеги. Половцы оказались такими же. Стесненные, они потеряли преимущество числа. Поневоле скучившись на мягком берегу Снова, половцы погибали от меча, тонули в реке.

В истории не так редки случаи победы слабейших числом. Гибель смятых войск в местах, неудобных для отступления, дело обычное.

В битве под Сновском легли многие ханы – родовые вожди, в плен попал главный половецкий хан. Был он взят, по точному выражению участников, руками, то есть неврежденным, живым, но кто-то поспешил с ним, поэтому имя его, как и прочих, осталось неизвестным для русских. Князь Святослав послужил тому невинной виной, приказав: «Добычи не хватать, пленных не брать. Мало нас, кому пленных стеречь! Победим – все наше, побьют нас – все станем прахом». Был князь из тех, кто призывает к мужеству, не боясь говорить о возможном поражении, не страшась напомнить о смерти.

Русские стрелки помогали тонуть половцам в Снове. Князь Святослав умными распоряжениями помог дружине переправиться на тот берег. Половцев настойчиво преследовали. Немногие из них, вырвавшись из-под Сновска, вызвали бегство мелких половецких отрядов,

искавших по Заднепровью легкой добычи. Русские выходили из крепостей, из убежищ и били бегущих.

Святослава победа освободила нечаянного киевского князя Всеслава от необходимости вести киевлян в поход на Степь. Стало известно, что перепуганные половцы отошли куда-то за Донец. Идти искать их неизвестно где, чтобы вязнуть в размокшей земле – осень уж на носу, – киевляне не желали. Собранные полки разошлись по решению веча. Князю Всеславу осталось гадать, к лучшему ли так получилось. Думалось – к худшему. Победоносная война с половцами могла ль упрочнить его на киевском столе? Рассуждая попросту – могла. Всеслав знал – не бывает простого. Просто у того, кто ленится мыслью. Он посылал верных людей раз узнавать, что же думают в Киеве, в Чернигове, в Переяславле. Выслушивая, видел силу Святослава-победителя, а к себе видел равнодушие.

Так и сидел Всеслав, оглядываясь во все стороны, а киевляне держали его по необходимости в князе с дружиной. Требовался по жалобам княжой суд – Всеслав судил по закону. Собирали обычные княжьи доходы с осторожностью, чтобы никого не обидеть, так же пользовался прибытками с княжих земельных угодий, со скота, с табунов, которые раньше принадлежали Изяславу, теперь стали Всеславовы по праву избрания в князья.

Изяслав зимовал в Польше, у короля Болеслава Второго. Король был женат на Святославовой дочери – племяннице Изяслава, которому и предложил родственную помощь: в обычной для поляков надежде пожить на русских уособицах. Винить в этом поляков не следует, и недостойно будет ссылаться на особенное коварство соседа и кровного брата. Не сохранилось примера, чтобы одно государство отказалось погреть руки на чужом огоньке. Тут не властны убеждения правящих, эпохи, религии, цвета кожи. Руки тянутся сами и тащат за собой голову. В утешенье сочиняются сказки о бескорыстных намереньях, благодущные люди любят сказки, верят им. Да, в истории можно найти несколько случаев бескорыстной помощи: помощник, не расширяя своих владений, не получая возмещения, посылал военную силу. И каждый раз через какое-то время помощь больно отзывалась бескорыстному во имя идеи помощнику. Почему так – не знаем.

Князь Святослав сидел в Чернигове, ни в чем не стесняя себя. Сегодня бранил Изяслава, родного брата. Завтра те же побранки доставались Всеславу, тоже кровному родственнику. Дед, Владимир Святославич, – общий. Святослав не мог побывать в Киеве, Всеславу Чернигов был заказан.

Все остальные, кроме князей, ходили, плавали, ездили куда хотели и сколько хотели. По всей Руси, к ляхам, к германцам, в Италию, за море к грекам, от греков – к арабам, к туркам. Паломники плавали в Иерусалим, куда мусульмане пускали за плату. Съездить из Чернигова в Киев на правобережье – такое и делом-то не казалось, было бы дело. Люди, осведомлявшие князя Всеслава, не считали себя и никто не считал их какими-то лазутчиками, которые лезут через закрытые границы и в щели замкнутых дверей. Границ не было, двери и рты – нараспашку. Князь Всеслав выбирал людей, честному совету которых мог довериться. Так же поступал Святослав. Киевляне, ездившие к ляхам для торговли, видались с Изяславом, чего и не думали скрывать. Тайн не было. Тем более требовалось от Всеслава осторожности, чтоб не упасть на ровном месте: оно, ровное, тем и опасно.

К югу от Киева, за городскими укреплениями, с высокой горы хорошо видны и город, и Днепр. Здесь, на лысом темечке горы, деревянный храм, поставленный недавно – стены еще не почернели. Храм маленький, тройного членения. Первая часть, выходящая торцовой стеной на восток, глядит на восход солнца единым глазом – высоко прорубленным окном. Здесь алтарь. Средняя часть раза в два с половиной выше алтарной, кровля шатровая, восьмискатная, сверху

луковица с крестом. Задняя часть такая же низкая, как алтарная, но в два раза длиннее. Такое строение храма называют кораблем: нос, высокая мачта и корма.

Кораблик сооружен пещерными жителями – иноками. Они спасают свои души для вечной жизни отречением от земной, временной. Первым сюда явился инок Антоний. Вместе со вдовым священником Иларионом они, по примеру египетских отшельников, выкопали себе пещерку. Гора помогла им: подкопайся с кручи вбок – и живи, вода не заходит. Вскоре Иларион покинул друга-инока. Его избрали митрополитом Киевским. Место его не осталось свободным. Приходили, копали пещеры. Инок Антоний угадал хорошо: само строение горы, сама земля способствовала устройству иноческого жития. Жили строго, по совести отказавшись от всего мирского: ни имения, ни денег, но собственный труд, чтоб кое-как пропитаться. Князь Изяслав Ярославич внес свой дар – пожаловал общине иноков гору в вечное владенье безданно, беспошлинно. Иноки сами при содействии доброхотных плотников из подручного леса возвели для себя малый храм. Посторонних посетителей-молельщиков в те поры приходило в тот храм меньше, чем самих иноков.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.